

ФЕЛИКС БАХШИЕВ

БЕЛЫЙ АИСТ



ФЕЛИКС БАХШИЕВ



Дагестанское книжное издательство
Махачкала 1984

Бахшиев Ф. М.

**Б 30 Белый аист.—Махачкала: Даг. кн. изд-во,
1984.—160 с.**

В книгу «Белый аист» Ф. Бахшиева вошли рассказы и повести.

Большая часть произведений—это результат поездок автора по зарубежным странам. Герои книги—эмигранты, живущие в Западной Европе. По разным причинам они остались без родины, и их теперешняя жизнь—непреходящая боль и тоска по утраченному.

Повести «Поездка», «Постигаю себя» рассказывают о наших современниках, строящих свое счастье на родной земле, о людях ищущих, целеустремленных.

ББК 84 ДАГ

Б 4702010000—61
М 123—84 68—84

© Дагкнигоиздат, 1984 г.



ЗАРУБЕЖНЫЕ ЭТАЮДЫ

БЕЛЫЙ АИСТ

Теплоход отошел от шведского берега. За кормой ускользал белокаменный Мальмё, на фоне зеленых холмов.

Вода отливала свинцовым блеском. Впереди показался и стал вырастать мрачный замок. Затем по правому борту проплыл городок Туборг: это название огромными буквами темнело на фронте массивного каменного дома; а по левому—островок, на котором сохранился старый форт с прадедовскими пушками.

И, наконец, теплоход вошел в порт Копенгагена. За бортом протянулась уютная и праздничная набережная.

Судовой врач Батулин стоял на верхней палубе и обводил взглядом город. Часто приходилось слышать ему, что каждая страна имеет свой особый запах. И теперь он чувствовал, как по палубе заструился какой-то незнакомый аромат.

Солнечным утром встречала советский теплоход Дания. Туристы высыпали на палубы и, когда матросы спустили трап и таможенники быстро и спокойно закончили обычные формальности, они заспешили вниз. На датскую землю.

Батулин смотрел, как копенгагенцы с улыбками глядели на голосистых туристов, а вскоре сами включились в хор голосов, жестикулируя и этим помогая понять друг друга. Город принимал гостей.

* * *

Белый аист долго кружил над островерхой крышей дома, и Катрин, удобно сидевшая в плетеном кресле, неотрывно смотрела на это ширококрылое чудо. Его крылья скользили в воздухе, а Катрин Савел твердила в душе: ну сядь же, милый, сядь и отдохни... Она верила, что аист приносит счастье, и ждала, чтобы он сел на крышу ее дома.

Наконец, то ли вняв просьбам женщины, то ли устав, он спланировал на крышу и сложил крылья.

И тут к нему от качелей бросилась маленькая девочка в ситцевом платице и в широкополой соломенной шляпке. Раскинув руки, она мчалась, не чуя под собой ног, и Катрин Савел показалось, что девочка оторвалась от земли и плывет по синему воздуху, и еще ей почудилось, что девочка очень похожа на нее, она попыталась пристально взглянуть в детское лицо, но кто-то осторожно тронул Катрин за плечо:

— Мама, проснись, мама...

Перед ней стоял Стив.

— Что-нибудь случилось, мальчик?—спросила она, снова закрыв глаза и пытаясь вспомнить девочку, но она бесследно исчезла, и Катрин окончательно проснулась.

— Нет, мама, ничего не случилось. Ничего плохого. Я сегодня на одном судне видел красный флаг.

— Ты был в порту?

— Я ехал с работы, мама. Венкур взял меня в машину и мы ехали по набережной. Флаг советский, мама.

Катрин Савел засуетилась, встала с кресла:

— Что же ты стоишь, Стив, переодевайся, их так давно не было. Переодевайся, или ты не хочешь идти? Устал, мальчик?

— Нет, мама, пойдем...

Спустя несколько минут старенький «Фольксваген» выкатился со двора и помчался в порт.

Выехав на набережную, машина остановилась. Катрин прошла к скамейке, аккуратно присела и принялась издали осматривать стоявший напротив теплоход. Огромный, белый.

— Это русский теплоход, Стив. Смотри, какой он нарядный и красивый. Ах, Россия...

Стив долго стоял рядом с матерью, потом отошел к группе туристов и на ломаном русском языке спросил:

— Что такое... Крупская?

Туристы подняли на него удивленные глаза.

— Вот... написано—Крупская,—Стив показал рукой на борт теплохода.—Что такое Крупская?

— Крупская?—одна из туристок с любопытством посмотрела на него.—Наш государственный деятель. Она была другом и женой Ленина.

— Крупская была женой Ленина...—повторил Стив.

Сверху, с палубы, Батурин давно приметил широкоплечего молодого датчанина. И когда тот поднял голову, Батурин, показывая рукой на трап, крикнул:

— Поднимайся...

Датчанин огляделся вокруг, не поняв, что обращаются к нему.

— Поднимайся навверх...—крикнул снова Батури.

Молодой человек, было, направился к трапу, но вдруг остановился, подошел к старой женщине и, запинаясь, проговорил:

— Мама, он приглашает нас на судно.

— Ну так что же ты ждешь?—и она торопливо пошла, взяв под руку сына.

Батури. провел их на корму, усадил в шезлонги, потом зашел в каюту, достал из дорожной сумки проспекты Москвы и Ленинграда и вернулся к гостям. Датчанин сидел задумчивый. Лицо его, обрамленное коротко стриженной бородой, красивое, мужественное, светилось умом.

Батури. протянул проспекты датчанину.

— Возьмите, это вам.

— О, большое спасибо... Я сейчас узнал о Крупской,—датчанин замолчал, затем произнес:—Мне никто о ней не рассказывал. И даже мама не рассказывала.

— Вы говорите по-русски?—удивился Батури.

— Мама много знает о России, а о Крупской ничего не рассказывала,— продолжал датчанин, будто не расслышав вопроса.

— О России на Западе знают не все,—сказал Батури.

— Я русская,—сказала старая женщина.

Батури.ну показалось, что она мысленно возвращалась из далекого путешествия.—Я русская. Катрин Савел. Это по-датски.—Она улыбнулась и ее лицо засветилось добротой.—По-русски—Екатерина Савельева.

— И давно вы здесь?—спросил Батури.

— О, как давно... Ребенком приехала с родителями. Когда из России уезжали многие.

— Это году в восемнадцатом-девятнадцатом?

— Да... Мне было пять лет...

Что она может знать о России, подумал Батури, прошло шестьдесят лет, да и страна тогда была в войне. Может быть, рисовала в воображении свою родину по рассказам родителей, которых к закату жизни мучала острая ностальгия?..

А Катрин Савел прикрыла глаза, ей вновь виделся белый аист, девочка в ситцевом платьице, в широкополой соломенной шляпке...

— Я не пропускаю ни одного судна, которое приходит из России,—сказала тихо Катрин, не открывая глаз.—Матросы меня часто приглашают на судно. Рассказывают о России.



— А вам не хотелось бы, побывать в России?—спросил Бату́рин.

— Побывать в России?—Савел улыбнулась.—Очень хочется. Но... нет денег. Нет крон. И все-таки перед смертью я должна побывать в России...

Она умолкла. Тонкий слух Батурина уловил шепот. Он бросил взгляд на датчанина. Тот перелистывал проспекты. Его большие голубые глаза переходили от одной иллюстрации к другой, а губы тихо шептали: он читал русский текст.

— Вы... скоро отплываете?—спросила Катрин Савел.

— Завтра к вечеру.

— Так быстро!..

— Дольше нас Дания не принимает,—пошутил Бату́рин, потом серьезно добавил:—Такова программа. А знаете что, друзья мои...—он задумался, подбирая слова, чтобы не обидеть гостей.—Вы давно не ели русского борща?

Катрин Савел переглянулась с сыном.

— Изредка на русских теплоходах угощают.

— Так пойдемте, я вас угощу. Вы знаете, у нас сегодня на обед чудесный борщ.

— Большое спасибо, что вы, мы не голодны,—засуетилась старая женщина, но Бату́рин и слушать не хотел.

И он повел мать и сына в ресторан.

Был полдень, когда они уходили с теплохода.

— Завтра вечером...—произнесла старая женщина, о чем-то думая.

— Что вы сказали?—спросил Бату́рин.

— Я думаю, успею ли привезти внука. Он сейчас с матерью за городом. Хочу, чтобы увидел русских.

— Успеем, мама, постараемся успеть,—сказал датчанин и протянул Бату́рину руку.—Спасибо вам за все.

— Пойдем, Стив.

Старая женщина взяла сына под руку, и он осторожно пошел с ней по раскачивающемуся трапу.

* * *

Маленький датский курортный городок Драгер, расположенный на кромке острова Амагер, глядел на противоположный берег. Паромы между Драгером и Лимхалином, что на шведском берегу, сновали по Зунду, как челноки. Много шведов ездили сюда из Мальмё за продуктами: здесь они были дешевле.

Драгер был излюбленным местом рыбной ловли копенгагенцев. Но с тех пор, как всевозможные суда загрязнили воды

Зунда, рыба пошла на убыль. Однако отдыхающие по-прежнему приезжали, снимали комнаты в отеле «Странд», заполняли кемпинги.

Городок был аккуратен и красив. Дома живописные, окрашенные в веселые, яркие цвета. Тенистые сады распространяли аромат пышной зелени, цветов и ягод. На извилистых, узких улочках, мощенных булыжником, дремала тишина, берег был весь усеян лодками и яхтами.

Этот воскресный день выдался солнечным и безветренным.

Не успела маленькая яхта подойти к причалу, как полуденную тишину встревожил женский голос:

— Луиза, мы можем опоздать, боже мой, ну как тебе еще объяснять.

Молодая загорелая женщина прыгнула на деревянный помост причала и быстро и ловко привязала швартовик к тяжелому кольцу.

— Ну и беспокойная ты у меня, мама,—вздохнула она.— Вольдемар, где ты там, ну-ка выходи, быстро.

Из каюты выглянул мальчик, перелез на причал и побежал к бабушке, сидевшей в плетеном кресле под деревом.

— Луиза, покорми ребенка и одень, быстро. Мы можем опоздать. А где мужчины? Боже мой, что с вами сегодня стало?

— Свэн не поедет, у него встреча с представителями фирмы. А Стив сейчас подойдет, они на другой яхте.

Свэн, зять Катрин Савел, был шведом, но вот уже пятнадцать лет жил в Дании, являлся одним из директоров фирмы по производству безалкогольных напитков.

— Одевай быстрее ребенка, Луиза.

— Успеем...

— Как же, успеем... Или ты забыла, что скоро все устремятся в город. Черепашьим ходом успеем, к ночи только. Стив, негодник, живо собирайтесь,—закричала она, когда сын показался на берегу.—За всех должна волноваться я.

Через полчаса «Фольксваген» выехал на автостраду, а еще через полчаса он медленно двигался, то и дело тыкаясь в бамперы впереди идущих машин.

Катрин Савел, изнервничавшись, сидела молча, ни на кого не глядя, уже не надеялась успеть к теплоходу.

* * *

В это время над Копенгагеном догорал закат. Батурин стоял на верхней палубе теплохода и глядел, как к пристани одна за

другой подъезжали легковые автомашины. Из них выходили пожилые люди с нарядно одетыми ребятами. Батурина показалось, что они пришли встречать прибывающее судно. Но судно все не подходило, а перед теплоходом уже негде было яблону упасть.

Кто-то на пристани на русском языке затянул «Катюшу», ее подхватили, она переметнулась на палубы и взвилась над водной гладью. Потом стоявшие внизу долго аплодировали, и лица их сияли, они поднимали на руки детей, что-то объясняли им, показывая в сторону теплохода.

Вдруг слух Батурина уловил далекий, но отчетливый голос: — Товарищ!..

Он принялся всматриваться в лица. Их были сотни, разных, но с одним выражением—безутешной тоски. Внезапно Батурин остановил взгляд: в плотной толпе людей стоял Стив с мальчишкой на плече. Рядом стояли мать и молодая женщина. Стив поднял руку и неистово замахал. Женщина вытирала со щек слезы.

Было шумно. Батурин и Катрин Савел смотрели друг на друга, и Батурин без слов понимал чувства, охватившие русскую женщину, волей судьбы оказавшуюся на чужой земле, но пронесшей через всю свою жизнь любовь к России и заронившей ее в душу своих детей.

Матросы подняли трап, теплоход стал медленно отходить от пристани. Катрин Савел подняла розовую косыночку, которой была обмотана шея, замахала ею. Батурин высоко поднял руку. Они прощались.

Теплоход отходил все дальше. На пристани люди махали руками. Неожиданно над толпой, над головами провожающих высоко взметнулись три алых флага. Что-то судорожно сжало Батурина горло, перехватило дыхание.

Берег удалялся. И тем неистовей невидимые в толпе руки размахивали флагами. Потом красные полотнища стали казаться языками пламени над головами людей. И эти языки пламени долго еще полыхали, пока не поглотил их горизонт.

* * *

Белый теплоход уходил в голубую даль, становился все меньше и меньше, а Катрин Савел сквозь слезы казалось, что это исчезает в синей дали белый аист.

ИГРОКИ

Кемаль принял теплый душ, надел выцветшие джинсы и куртку, обул истоптанные, некогда замшевые туфли, тщательно причесал иссиня-черные волосы и вышел на улицу. Перед входом в заводоуправление он невольно задержался, остановил взгляд на броской вывеске, зло плюнул и пошел прочь.

Кемаль был расстроен. Вчера он осмелился спросить у Хандерсона, высокого пожилого шатена, который командовал на разгрузочно-погрузочной линии, когда ему повысят зарплату. Тот взглянул на Кемалья, словно на неслыханное диво, потом буркнул:

— Скажи спасибо, что нашел хоть эту работу.

Кемаль ничего не ответил, но сегодня поднялся с тем же вопросом в отдел зарплат. Ему любезно объяснили, что он будет получать наравне с норвежцами только тогда, когда овладеет языком этой страны. А пока—вдвое меньше. Если желает, может записаться на курсы по изучению норвежского языка. Они платные.

Всю оставшуюся половину дня Кемаль грузил ящики с кока-колой и соками. Приятели, такие же смуглые и черноглазые, вразумляли его:

— Успокойся ты, наконец... У них аллаха нет над головой. Оттого, что ты будешь бегать и выяснять, кроны не прибавят. А выгнать могут. Работай уж тихо, пока не подвернется что-нибудь получше...

— Не подвернется...—злился Кемаль.—Я—водитель высшего класса, а взяли меня грузчиком. Где такое еще увидишь. Завтра туалеты пошлют чистить.

— Пошлют—пойдешь чистить,—смаялись беззлобно приятели.—Куда деваться? Деваться-то некуда.

Так перебирая в памяти минувший день, Кемаль вышел к цветочному ряду и остановился, прислонившись к фонарному столбу. Он долго смотрел на яркие цветы и бесцветных женщин, толпившихся перед продавцами, и вспомнил вдруг турчанок. Темноволосых, белолицых, броских. Сколько их там, в Стамбуле, красивых женщин. Один взгляд их стоит сотен поцелуев этих норвежек. Кемаль вспомнил тот злополучный день, когда он остановил «Мерседес» перед грациозной турчанкой, переходившей улицу в неположенном месте. Хозяин ничего не сказал, более того, долго провожал ее похотливым взглядом. А на следующий день Кемалья не допустили к машине. Многие месяцы слонялся Кемаль по городу: некоторое время был мусорщиком, потом хамалом... Перебывался грязной временной

работой. Надоела ему, осточертела такая жизнь, плюнул на все и уехал на север, куда звали приятели.

Кемаль отошел от столба, задумался, куда пойти. На казино, театр, шоу расходы не предусмотрены; да и в кармане было всего несколько крон. Домой? Когда ни зайдешь в комнату, приятели делятся своими заботами, сетуют на жизнь. Своих горестей по горло, да еще они подливают в полную чашу...

Кемаль медленно побрел мимо цветочного ряда, вышел на широкую шумную улицу, потом свернул к морю и вскоре оказался в порту.

Здесь было тихо и безлюдно. Краны стояли неподвижно, упершись макушками в холодное небо. Холодной была и вода, ртутной жидкостью растекшаяся от причала.

— Вай, хо-хо-хо,—вздыхнул тяжело Кемаль, вспомнив Стамбульский порт. «Стамбульский—всем портам порт»,—сказал он про себя, представив теплую, искрящуюся голубизну Босфорского пролива, свист и гудки буксировщиков, утробные голоса океанских теплоходов, крики, споры и смех хамалов. Они бежали по пристани с огромными тюками на спине, благословляя удачу и судьбу. И весело, с хитринкой в черных глазах, хамалбаши подстегивал их словами: давай поторапливайся.

Эти хамалы, оглашавшие причалы криками и песнями, походившими на стон, и составляли цвет стамбульского порта.

Кемаль присел на шаткий ящик, уставился вдаль, на гладь темнеющей воды и тихо произнес:—ана... Кемаль вспомнил старую мать, малых сестер, покосившийся отчий дом, все это осталось в далеком вилайете в Турции. Почти весь свой скудный заработок он отсылал ей, многострадальной женщине. Он помнил ее веселой, статной, первой красавицей в деревне. Но с того дня, как в споре за землю убили ее мужа, а его отца, она сильно постарела.

— Стихи сочиняешь?... кто-то расхохотался над головой. Кемаль вздрогнул, но увидев хамала Мустафу, успокоился.

— Я тоже сочинял, пока меня не припечатала лопатками к земле нужда. Вставай, пойдем с нами.

— Куда направился?

— К игральным автоматам. Может быть, аллах смилостивится над нами и позволит выиграть малость.

— У меня в кармане почти пусто, Мустафа.

— Я у тебя прошу что-нибудь?—удивился Мустафа.—Я тебя приглашаю. Лишние деньги тебе не помешают.

И вправду, подумал Кемаль, гляди, выиграем, заплачу за курсы, изучу язык этой страны. И дела пойдут веселей. Нет,

все-таки здорово—выучить язык этой страны и получать хорошую зарплату.

— Уговорил, пойдем.—Кемаль встал.

— Эй, хамалы, не спешите,—крикнул Мустафа ушедшим вперед и обратился к Кемалю.—Сегодня много судов пришло. Руки как свинцом налиты.

— Обычно ноги бывают...

— Ног вообще не чувствую,—прервал Кемаль Мустафа.— А дьявол с ними, у себя и этой работы не найдешь. А без работы мужчина что? Скажи—что? Я тебе отвечу: красноперый попугай, мыльный пузырь... Лучше нож в живот, чем сидеть без работы,—жестко добавил он и замолчал.

В парке, куда они пришли, былолюдно и шумно. Яркого рекламна аттракционов, вкусно пахло жареным мясом, да так вкусно, что кружилась голова. Они вошли в просторный павильон игровых автоматов. Мустафа подвел их к большой станине, у которой играли пятеро мужчин. Несколько валиков равномерно сновали к кучке жетонов и обратно. Нужно было так умело опустить свой жетон, чтобы валик сдвинул им к желобу всю кучку... Это удавалось редким игрокам.

Когда у станины остались двое норвежцев, Мустафа бросил взгляд на земляков, те без слов поняли его. Один отошел к дверям, другой встал в проходе.

— Подойди к станине и ударь задом,—сказал Мустафа на уху Кемалю.

— Зачем?—удивился Кемаль.—Надо купить жетон...

— Объяснять нет времени,—прервал его жестко Мустафа.—Встань у станины и ударь задом. Сильно. Не тревожься, я с тобой.

Кемаль, ничего не понимая, ударил. И ощутил только боль.

— Сильней ударь, сильней,—прохрипел Мустафа.

Кемаль ударил.

В желоб скатились жетоны.

Подошел Мустафа, стал рядом и тоже ударил по станине. И опять по желобу зазвенели жетоны.

Мустафа нагнулся, вычерпнул их огромной ладонью раз, второй, третий и пошел к кассе.

Кемаль поднял голову и искоса глянул на норвежцев. Те не обращали внимания, или, может, не хотели связываться.

Мустафа подошел, подтолкнул его плечом и коротко сказал:—пошли.

Только выйдя на свежий воздух, Кемаль сообразил, какой опасности они подвергались минуту назад. Там, в павильоне, они действовали, как автоматы, подчиненные одной воле, одной ко-

манде: нужно, нужно... Здесь, отрезвленный, он вдруг покрылся холодной испариной.

— Мы игроки,—сказал тихо Мустафа.—А игрокам безразлично, как добывать деньги. Сегодня нам повезло. Сдал жетоны, получил кучу крон.

Он вытащил несколько бумажек, сложил их и сунул в нагрудный карман куртки Кемалья.

— Это тебе. Ты сегодня молодцом оказался. Сейчас недурно было бы выпить по чашке кофе. Угощаю, ну-ка, хамалы, все в кафе.

Страх Кемалья уже прошел и он думал о том, как завтра запишется в кружок по изучению норвежского языка, овладеет им... И потекут деньги... Деньги, так необходимые маме и сестрам.

— Опять стихи сочиняешь?—засмеялся Мустафа.—Пей. Кофе ароматен, когда он горяч.

Выпив кофе и съев по бутерброду, они вышли из парка.

— Если нужны будут деньги, приходи в порт,—сказал Мустафа, хлопнув по-дружески Кемалья по плечу.—Вместе отправимся играть.

— Да нет. Я больше не пойду,—проговорил Кемаль.

— Смотри, один не ходи,—предупредил его, не дослушав, Мустафа.—Один не смей. Дождись нас.

И они утонули во мраке ночи.

Кемаль медленно шел по улице, счастливый от сознания, что наконец у него в кармане появились деньги и он сумеет уплатить за изучение норвежского языка. Занятый мыслями, он не заметил, как из-за угла вынырнула большая группа длинноволосых хиппи и замер, когда увидел перед собой лица. Ему что-то сказали, он не понял, потому что не знал языка. Кто-то свалил его подножкой на землю, нанес удар ботинком по ребрам, животу. И он погрузился во мрак.

Кемаль пришел в себя от острой боли. Потом она притупилась от мысли, что деньги могут исчезнуть. Мороз прошел по спине. Он опустил пальцы правой руки в нагрудный карман. Карман был пуст. И Кемаль заплакал об бессилия.

Одинокие прохожие видели, как на земле у стены корчился от боли и стонал человек. Но им не было до него никакого дела. Им ни до кого не было дела. Каждый был занят только собой. Но если бы кто-нибудь из них и прислушался, сквозь стоны различил бы непонятные короткие слова:

— Ана, ана...

Елизавета Семеновна Акимова—лицо не вымышленное. Мне довелось увидеться с ней в винодельческом кооперативе под городом Когор, во Франции.

ГДЕ-ТО В ДЕРЕВНЕ ВО ФРАНЦИИ

«Ситроен» мчался по проселочной дороге. По обе стороны на холмы взбегали виноградники. Выше зеленел лес.

— Петя, скорее, мы можем не успеть.

Петя, сухощавый, остролицый пожилой мужчина, упершись вытянутыми руками в баранку руля, гнал машину на предельной скорости. Он не отрывал глаз от дороги, которая, извиваясь, скользила меж холмами.

— Петя, быстрее...

— Быстрее невозможно, Элиза.

— Но мы можем не успеть, Петя,—протяжно произнесла она, как молитву.

— Что ж поделаешь, Элиза... Поедем вслед... Где-нибудь настигнем, Элиза.

Элиза неотрывно смотрела вперед. Лицо ее, крупное и круглое, испещренное глубокими морщинами, застыло в ожидании. Серые глаза не мигали. Они смотрели в какую-то невидимую точку.

— Успокойся, Элиза, мы их нагоним,—сказал тихо, но уверенно мужчина.

До Элизы его голос дошел издалека. Ей вдруг почудилось, что ее увозят в далекие, неизвестные края, и кто-то из-за тысячи голов кричит—Лиза!.. И перед глазами ожили лица, десятки, сотни, тысячи лиц, залитые слезами, перекошенные от боли рты. И ожили, как страшное виденье, злые, остервенелые глаза немецких солдат. Эшелон увозил девушек в Германию. В Великую Германию, которая дает «арбайт», говорили немцы, оттесняя матерей и отцов от детей. Над вокзалом прошел стон.словно стон раненого исполина, который чувствовал, что не скоро, а может и никогда не затихнет его боль. Но вздрогнули вагоны, заскользили по рельсам, и стон перешел в рев...

А потом стучали колеса и мимо зарешеченного окошка проплыли до боли родные улицы и дома и исчез, растаял, испарился город Луга.

— Мы нагоним их, Элиза...

Этот голос не был похож на голос эсэсовца, сидевшего за столом с растянутым до ушей ртом. Эсэсовец записывал в

толстый журнал имени российских девушек, смеривая их взглядом с ног до головы.

— Лиза,—сказала она дрожащим голосом, поравнявшись со столом.

Эсэсовец поднял соловьи глаза и что-то гаркнул.

— Елизавета Семеновна Якимова.—Голос ее сорвался.

— Элизабет Иохим,—громко повторил эсэсовец,—шнель,—и махнул рукой в сторону барака.

Она вошла в барак. В лицо пахнуло чем-то горячим, тошнотворным. В полумраке какие-то массивные тени сорвали с нее одежду, толкнули к камину, она дико вскрикнула от обжигающей боли и потеряла сознание. Очнулась на нарах, и поняла, что она—Элизабет Иохим—узник концлагеря с выжженным номером на плече.

— Элиза, не волнуйся, мы нагоним их, я обещаю тебе...

Чей это голос? Где она его слышала? Ах, да, там, в концлагере, когда отчаяние сдавливало горло и хотелось броситься на проволоку—умереть, испепелиться, чтобы не жить на этой проклятой земле. Она была проклята тысячами узников, которые долбили в окрестностях лагеря землю, добывая немцам руду, падали в изнеможении на холодные колючие камни и умирали тихо, незаметно, безропотно. Долгими ночами, лежа на нарах и не чувствуя гудящих от усталости ног и рук, не ощущая адской рези в пояснице, потому что ее душа давно отсеклась от тела и существовала отдельно, долгими ночами Элиза видела отчий бревенчатый дом на окраине Луги, скамеечку у калитки и рябину, свесившуюся над ней, а утром камни рудника остужали ее воображение. И пришла ночь, когда Элиза, как не силилась, не могла вспомнить отчий дом, в глазах стояли серые камни. И вот тогда ей захотелось умереть. На рассвете она вышла из барака, подошла к ограждению. Проволока не была страшна. Шагнуть и лечь... Но она вздрогнула, напряглась и медленно обернулась. И голос тихо, тепло и тревожно повторил—Элиза...

— Ты увидишь русских, я тебе обещаю,—сказал сидевший за рулем, и машина резко свернула за холм.

...Она ожидала увидеть эсэсовца. А за спиной стоял высокий худой человек с вытянутым лицом. От его полосатой одежды веяло холодом и сыростью, но голос был удивительно уютным.—Элиза,—повторил он,—что вы делаете? Разве можно... жизнь для вас только начинается... Она оглянулась на мужчину и отрешенно проговорила:—Начинается?.. Она кончается, затухает и тает, как свеча... Вы видели, как тает свеча?..—Элиза,—повторил он,—начинается. Именно начинается. Скоро бо-

ши будут разбиты. Очень скоро... Элиза... И еще... я люблю вас.

До нее не дошел смысл последних слов, так разбиты были ее чувства и опустошена душа. Она повернула к барaku и медленно пошла рядом с высоким узником.—Меня зовут Пьер, Элиза, я всегда к вашим услугам.—Какие здесь могут быть услуги?—Она впервые за долгие месяцы улыбнулась. —Я готов вам всегда, во всем помогать,—сказал Пьер, украдкой, с боку любуясь ее лицом...—Что же вы себе не помогли, чтобы не попасть в лагерь,—сказала она. Он молча махнул рукой, потом, расстегнув верхнюю пуговицу халата, обнажил левое плечо и грудь, исполованную шрамами, тут же застегнулся, тихо произнеся:—Плен, Элиза.

...—Осталось недолго ехать, на тебе лица нет, успокойся, Элиза.

Да, этот голос всегда был теплым и сердечным, сколько она его помнит. Он вернул ей силы, любовь к жизни. И камни рудника не казались уже холодными и безжизненными, а ночами изредка снилась рябина над скамейкой. А потом и душой успокоилась, когда узнала, что Пьер Дюпорт коммунист. Однажды встретившись на ее пути, Пьер никогда больше не расставался с нею. И когда коммунисты лагеря подняли узников на восстание, она ушла с Пьером во Францию.

— Ну, что я тебе говорил, Элиза, вот мы их и нагнали,..—воскликнул Пьер, въезжая на территорию винодельческого кооператива.

У автобуса стояла большая группа советских туристов. Элиза ойкнула и припала к ветровому стеклу. Из ее глаз в глубокие борозды морщин стекали слезы.

— Мы их возьмем к себе, да, Петя?

— А если им не по пути, Элиза?

— Ну хоть на полчаса, хоть на несколько минут.

— Им могут не позволить, Элиза, посещение нашего дома не входит в программу.

— Я буду просить их, умолять, упаду на колени..

— Элиза, нельзя так,—мягко заметил Пьер...

— Да, упаду на колени, встану перед автобусом, не дам им уехать.

Пьер остановил «Ситроен». Элиза выскочила из машины и побежала к группе людей, забыв о своих годах. Она бежала, не ощущая под собой ни ног, ни земли, не чувствуя сильно колотившегося сердца, которое готово было вырваться из груди.

Спустя некоторое время «Ситроен» и автобус остановились у

небольшого дома, увитого зеленью. Туристы, сопровождаемые Елизаветой Семеновной и ее мужем Пьером, вошли во двор, благоухающий цветами, вслед за хозяйкой свернули за дом и замерли. Перед ними стояла пятистенная бревенчатая русская изба. И лавочка у дверей.

— Заходите в избу, гости дорогие,—певуче произнесла Елизавета Семеновна,—милости просим. Приглашай, Петя...

— Заходите, гости дорогие,—сказал по-русски Пьер Дюпорт, низко поклонившись.

ВОДОРАЗДЕЛ

Дождь прекращается неожиданно. Поросшая массивными каменными домами улица Риволи, мрачная и серая в сырую погоду, сверкает и искрится гранями алмаза. Яркие солнечные лучи отражаются и преломляются в бесчисленных витринах магазинов, в стеклах легковых автомашин, в окнах ресторанов, баров и кафе.

С мсье Жильбером гуляем по Парижу. Мы проходим по Большим бульварам, улице Османа, держа над головами зонты. Один на двоих. Стоим перед Гран Опера, на пересечении шумных людных улиц, не обращая внимания на гулкую дробь, которую выбивают дождевые трости над нашими головами.

На улицу Риволи мы приносим с собой солнце. Так выражается Жильбер, стряхивая с зонты капли дождя и складывая его. Потом мы облюбовали себе кафе и садимся за столик в уютные кресла, приятно жмурясь в теплой паутине солнечных лучей.

В нескольких шагах от кафе на проезжей части дороги, прилегающей к кромке тротуара, ведутся земляные работы. Я обращаю внимание на рабочих. Их трое: негр и двое смуглых. Один из последних полуобнажен. Ботинки и брезентовые брюки отсырели от дождя: от них поднимается пар. При каждом движении на груди и плечах играют мускулы, упругие мышцы напрягаются. Но и не это удивляет меня. Здоровое, крепкое тело исполосовано шрамами. словно по нему прошли десятки сабель.

Подходит молоденький официант и выкладывает с подноса на столик заказ: салаты, холодную закуску, бифштекс и шартрес.

— Мсье угодно будет оранж?—предлагает официант.—Только что привезли.

— Можно,—говорит мсье Жильбер, и, кивая головой в сто-

рону полуобнаженного рабочего, обращается к Мансурову.—В хорошей передрыге побывал.

Согласно кивая головой.

И салаты, и бифштексы очень вкусны.

Но вот рабочие прекращают работу, складывают инструменты у кромки тротуара и сворачивают за угол. За едой ни я, ни мсье Жильбер не замечаем, как рабочие возвращаются. Одетые в чистую простенькую одежду, они молча садятся за соседний столик. Заказ у них небогатый: по высокой литровой кружке пива и два бутерброда на каждого.

— По-моему, те двое—алжирцы,—говорит мсье Жилбер, ставя рюмку на столик.

— Мне тоже так кажется... А нельзя ли спросить?..

Мсье Жильбер поворачивается к рабочему:

— Мсье, мой друг интересуется, откуда вы?

Тот поднимает большие чёрные глаза и внимательно смотрит на мсье Жильбера.

— Из Алжира.—И после долгого раздумья спрашивает.—А сам он откуда?

Голос его низкий, глухой.

— Из Москвы.

— Москву?.. Советик?..—тихо, не веря мсье Жильберу, произносит он и снова повторяет.—Советик? Не может быть...

— Почему же не может быть?—улыбается мсье Жильбер.— Вот он сидит, спроси его сам.

Рабочие оживляются. С их сосредоточенных лиц исчезают хмурость и недоверчивость.

— Мсье на самом деле из Москвы?—спрашивает алжирец, и его черные глаза потеплели.

Я кивая головой и улыбаюсь.

— У меня есть друг в Советах,—алжирец говорит мсье Жильберу, а смотрит на меня,—переведи ему, у меня есть друг в Советах. Мне довелось один раз побывать у вас, распродав все, что имел, занял у товарищей и поехал туристом. Его звать Серж, по-ихнему Сережа. Спроси, он не знает Сержа?

— Нет, мсье, я не знаю Сержа. Где он живет, в каком городе?

— У моря. Подожди-ка.—Алжирец задумывается, углубляется в свои мысли, и взгляд его становится отчужденным, но вдруг он радостно, как ребенок, вскрикивает: — в Астрахани. Да, да в Астрахани.

— Есть у нас такой город, Астрахань, но я там не бывал.

Когда мсье Жильбер переводит алжирцу, тот смущается:

— Не бывал?

— У нас великая страна,—говорю ему.—Большая, очень большая. Да ты сам, наверное, в том убедился.

— Да, конечно,—задумчиво произносит алжирец.—Великая. И люди добрые, приветливые. Вот Серж, ах, ты его не знаешь, как жаль, что ты не знаешь Сержа, замечательный парень. Нашей закваски, рабочей.

— А эти шрамы...—спрашиваю осторожно,—где ты их заработал?

— Шрамы? Это особый разговор. Особый разговор, — задумчиво произносит алжирец. Он долго молчит, потом тихо неохотно говорит:—Не хочется вспоминать. Бывали минуты—жутко становилось на душе. Так жутко, что жить не хотелось. А теперь, эх.., — алжирец отрешенно отмахивается рукой, замолкает, закрыв глаза. Что он представил в эту минуту?

Алжирец с силой откидывается на спинку кресла, открывает глаза и грустно улыбается лишь уголками рта.

— Меня избили в Марселе.. когда приехал на работу. Тогда я был молодым...

Он отхлебывает из кружки.

— В Марселе я подрабатывал то в порту, то на складах, то на строительстве дорог. Я искал постоянное место. Земляки мои горько смеялись надо мной: забудь золотые сны, Ибрагим... с любой работы тебя первого уволят, потому что ты приезжий. Я не верил им, я искал. И вот как-то поздно ночью возвращался в лачугу к землякам, неся в кармане двадцать франков: целый день разгружал мешки в порту. Как сейчас помню, из тёмного угла вышел худой верзила и встал на пути.

— Эй, ты, рожа, гони деньги.—У меня нет ничего,—ответил я, пытаюсь обойти его. Почему я должен отдавать ему свои двадцать франков, может, завтра не подвернется никакая работа. И послезавтра. А есть надо. Я почувствовал железные пальцы на своем плече.—Ах, ты, мразь,—сказал он и занес кулак над головой, но я успел раньше нанести ему удар в пах, и он рухнул. В это время из темноты на меня метнулись тени. Сколько их было, уже не помню. Я дрался. Когда меня схватили за руки, я ногами отбросил одного к стене, и он опустился на землю, как мешок. Потом удар по голове. Больше я ничего не помню. Когда пришел в себя—я лежал весь в бинтах, как кокон шелкопряда. Потом мне рассказали, что я шесть дней не открывал глаза, смерть не хотела отпускать меня. Говорят, подобрали меня утром, исколотого финками, избитого ногами. В кармане лежали двадцать франков. Это были не жулики, нет. Это были оасовцы. Инспектор полиции все допрашивал меня, вспомнил ли я кого-нибудь из них? А кого вспомнить, если в темноте лиц не

видно. Я их не видел, это они меня видели, знали, что алжирец. Может, и сегодня видят и удивляются, как я остался жив, почему не умер в ту ночь... Вон сколько народу проходит мимо, а я их не знаю.

Он берет с тарелки бутерброд и принимается медленно, безаппетитно, жевать его.

— Послушайте, мсье, вы знаете «Катюшу»?

— Кого?

— «Катюшу» Серж часто её пел.

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой,
Выходила на берег Катюша,
На высокий на берег крутой...

Он запевает низким, теплым голосом, его поддерживают друзья. Я переглядываюсь с Жильбером, мы присоединяемся к поющим. Мне чудится, что песня расширяет свои границы, она уходит за пределы двух столиков и слышится за спиной. Оглядываюсь. Поднявшись с кресел, не допив и не доев, швыряя салфетки на столики, с презрительной усмешкой, задрав головы, небольшая группа французов покидает кафе. Остальные, мерно покачиваясь, поют. Поют на французском языке «Катюшу». Я впервые в жизни ощущаю, вижу, как песня не только объединяет людей, но и разъединяет их. Песня обнажает врагов и друзей.

А над столиками тихо, размеренно плывет песня.

Я гляжу в сторону Ибрагима. Тот внимательно изучает франк, поблескивающий в его ладони. Незаметно достаю из кармана франк и тоже его осматриваю, пытаюсь сообразить, что обратило внимание Ибрагима. На монете вычеканены слова: Liberte, Egalite, Fraternite.

Ибрагим усмехается, поймав мой взгляд, смущается, потом подмигнув мне, как старому приятелю, бросает франк на столик и присоединяется к поющим.

ПОД СЕНЬЮ СВЯТОГО СЕРДЦА

— Мсье, могу написать ваш портрет. Не желаете? Мсье, неужели вам не нравится Гаврош, всего за пять франков, уступлю и за три. А парижский гамен? Он же прелесть! Ну, возьмите вот этот пейзаж, вид Латинского квартала, или Эйфелеву башню...

Средних лет француз с пышной бородой и копной волос на голове настойчиво предлагает мне свои картины. Они висят на стойках, на металлической ограде, а на этюднике—незакончен-

ный портрет. Портрет мужчины с большими грустными глазами, в которых проглядывается страшная безысходность.

— Мсье понравился автопортрет? О, мсье понимает толк в живописи.

Вокруг, куда ни бросишь взгляд, картины и художники. Картины зелеными, красными, золотистыми гроздьями висят на ограде сквера. Художники, словно грачи, снуют перед ними. И толпы туристов и зевак топчут брусчатку мостовой, поминутно поворачивая головы то направо, то налево, желая запечатлеть в памяти все... Сколько тысяч, миллионов ног прошли по этим холодным камням!

Монмартр вздрагивает от визга, заливается хохотом, томится от объятий. Монмартр обменивает картины на хлеб насущный.

Схожу с тротуара на брусчатку и тут людская река подхватывает меня и несет с собой, останавливая, беспрерывно поворачивая то налево, то направо. Над головой плывут запахи духов, сигар и «Шартреза», в глазах рябит от обилия картин. С трудом протискиваюсь на тротуар и вздрагиваю от громкого умоляющего голоса:

— Мсье, могу написать ваш портрет... Ах тысячу извинений, мсье, я уже вам предлагал.

— Мне не нужен портрет.—Хочу предложить вам выпить со мной чашечку кофе.

Владелец пышной бороды смотрит на меня с некоторым любопытством.

— Почему же нет. С удовольствием. Морис,—кричит он соседу,—присмотри за моим товаром.

— Хорошо, Жюль.

Мы облюбовали уютное местечко в кафе. Отсюда открывается удивительный по красоте и нелепости вид: на фоне белокаменного собора Сакре-Кёр люди выглядят муравьями, копошащимися на тесной улочке...

— Мсье в Париже как турист или по делам фирмы?—спрашивает Жюль, когда официант ставит на столик «Шартрез» и кофе.

— Как художник.

— О, мсье художник, что же он рисует?—оживляется Жюль.—Я пишу. Пером.

Он внимательно смотрит на меня и кивает головой:—ясно. В какой-то степени мы коллеги.

Жюль поднимает рюмку.

— Ваше здоровье, мсье!

На ступеньках собора Сакре-Кёр располагаются музыкан-

ты, воздух оглашается звоном гитар, аккордеона и глухим с хрипотцой голосом.

— Может, и заработают ребята по несколько франков,— говорит задумчиво Жюль, глядя в их сторону.—Поиски хлеба заставляют нас делаться ремесленниками. Искусство становится ремеслом. Это беда, большая беда. Я мечтал стать настоящим художником, а не ремесленником. И способности, кажется, были, и работы мои покупали... Но как видите, мсье, выше Монмартра не поднялся. Надо кормить семью, вот и приходится рисовать гаменов и пейзажи.

Жюль отпивает кофе, вкусно жмурится, потом глянув на храм, усмехается:

— Все мы стремимся под сень Святого Сердца, и художники, и музыканты, и девицы... Только толку-то. Холоден он. Одно слово — камень.

Он проводит рукой по роскошной бороде, очевидно, единственной роскоши, которая у него есть, и лениво продолжает:

— Кое-кто из туристов покупает картины. Бывает, заработаешь несколько десятков франков. Но искусство погибло. Разве можно назвать искусством, когда за ночь малюешь десять, а то и пятнадцать рисунков с изображением Сакре-Кёр.

— А вы не задумывались написать эту картину?—спрашиваю, кивнув в сторону Сакре-Кёра.

Жюль удивленно поднимает на него большие глаза, потом мягкая улыбка ложится на его губы.

— Вы понимаете искусство, мсье. Вы... человек с головой. Чтобы показать на фоне этого прекрасного собора, тесную улочку с копошащимися на ней толпами людей, нужно иметь большой талант. Время. Смелость. Да, да, и не пытайтесь возражать. Ведь тут требуется написать не фигурки людей, а образы: гуляк и девиц, бездельников и мелких торговцев, искателей удовольствий и владельцев туго набитых кошельков. Нужен талант. И напишешь эту вещь не за ночь, мсье. Она потребует месяцы работы, если не годы. Но самое важное—нужна решительность. Ведь вы понимаете, о чем будет кричать картина... Святотатство под сенью Сакре-Кёра. Проституция и бизнес под сенью церкви... Нет, мсье, для этого нужны талант, время и смелость. А у кого из этих художников они есть?

И Жюль указывает рукой в сторону.—Думы о хлебе насущном заставляют забывать святое предназначенье искусства.

Жюль допивает кофе, встает.

— Большое спасибо, мсье, за угощение. С вашего позволения я пойду. Может, найду покупателя...

Он уходит в толпу и растворяется в ней.

Возвращаюсь в отель по темным, тесным улочкам, стекающим с Монмартра. Девушки, стоящие вдоль стен, глядят на меня откровенно, вызываясь. А я вижу перед собой лицо с пышной бородой, копной волос на голове, и большими грустными глазами, в которых проглядывает безысходная тоска.



ПОВЕСТИ

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ

1

Широко зевая и одновременно протирая ладонью воспаленные глаза, он стянул с себя прохудившийся плед, встал с жесткого дивана. Несколько раз лениво развел руками, прислушиваясь к скрипу половых досок, надел нехотя потрепанную рабочую спецовку и вышел из бревенчатого домика.

Холодный воздух заставил его вобрать голову в плечи и засунуть руки в карманы брюк.

Было раннее утро. Над головой стило голубое небо. Ноздри колол острый запах хвои и звериного духа.

Он подошел к крану, отпил несколько глотков воды, ощущая, как она остудила рот и потекла по пищеводу, потом вернулся в домик. Пройдя в угол, он взял грабли, лопату и метлу, подхватив одной рукой ведро, наполнил его из крана водой и поднялся по аллее.

— Гуд морнинг, Элефант,—сказал он громко, входя в вольер к слону. Тот тяжело и грузно двинулся к нему, вытянул хобот в надежде полакомиться с утра, принялся принюхиваться к карманам, но человек не обращал на него внимания. Тогда слон поднял заднюю ногу и замер на трех, потом оторвал от земли и другую. Но человек опять не повернулся к нему. Слон утробно заворчал и поплелся в дальний угол.

Ему нечем было угостить слона.

Он тщательно поскреб и прочесал граблями землю во владении слона, обрызгал водой, потом присел на холодную, мокрую от росы траву, опустив подбородок на колени. Серая глыба двинулась к нему, тяжелый, жесткий и шершавый хобот осторожно прошелся по плечам, спине, голове.

Вдруг вспомнив, он опустил руку в левый карман куртки, вытащил несколько измятых конфет и протянул слону. Тот принял их, скрутил свой хобот в кольцо и благодарно низко опустил голову.

Засиживаться времени не было. Он встал, подхватил грабли, лопату, метлу и ведро и пошел, бросив через плечо:

— Гуд бай, Элефант.

Слон проводил его трубным голосом.

Он подошел к другому вольеру, где по каменным террасам в такую рань уже прыгало многочисленное семейство шимпанзе. Эти неугомонные существа не давали ему работать. Встретив его настороженно и боязливо, через несколько минут они уже мельтешили перед глазами, прыгали на спину, плечи, повисали на граблях. И кричали, кричали так истошно и смешно, словно кто-то покушался на их дом и пищу.

Потом он вошел к семейству кенгуру, которое разбежалось от него в разные стороны.

— Привет, Раймондо,—услышал он громкий сильный голос.

Рабочий зоопарка Паттерсон, громадный Пат, широким размашистым шагом направлялся к бревенчатому домику.

— Привет, Пат.

— Ты сегодня опять здесь ночевал, Раймондо?

— Вчера поздно закончил работу, Пат. Не хотелось уже идти домой.

— А мы неплохо развлеклись вечером.

— Развлекусь часок-другой днем. Шеф отпустит, я договорился.

— Не жалеешь себя, Раймондо...

И Паттерсон пошел дальше.

— Не жалею,—усмехнулся горько Раймондо.—Для кого и чего жалеть мне себя, для кого беречь?.. Все полетело в тартарары в тот проклятый день...

Раймондо снова поднял с земли грабли, лопату, метлу и ведро и неторопливо пошел по аллее. Подойдя к гранитному парапету над крутым обрывом, он уперся в него коленями и глянул вниз.

Перед ним лежал Стокгольм.

Над тяжелыми, монолитными домами, изящной городской ратушей, над узким и длинным, как пузырь рыбы, озером, над голубой гаванью вставало розовое утро.

Что-то невольно приковало его внимание, он бросил взгляд на гавань и увидел плавно скользивший белоснежный теплоход. Внезапно гулко заколотилось сердце. Перехватило дыхание. На флагишке трепетал советский флаг.

2

Было около одиннадцати часов, когда Раймондо спустился в город, пересек мост, соединявший остров Сёдермальм с островом Стаден, вышел к Королевскому дворцу и наконец на Шкиперскую набережную. Огромное четырехпалубное судно, как айсберг, возвышалось над причалом, по набережной небольшими группами прохаживались туристы, а вездесущие репортеры усердно фотографировали гостей и теплоход.

Раймондо присел на колено лупоглазого чудища и молча стал глядеть на приезжих, прислушиваясь к их разговорам. Но вскоре на набережную

въехали восемь комфортабельных «Вольво», туристы весело заспешили к автобусам, машины вырулили на шоссе, а он остался сидеть у воды, тупо глядя на о безлюдеший теплоход. Он долго не сводил глаз с вахтенного матроса, стоявшего на верхней площадке трапа, потом в нем вспыхнуло страстное желание подойти к нему, поговорить, просто поговорить по-русски. Как ему этого хотелось! Но холодок, трусливо возникавший в груди, отрезвлял его. И он продолжал сидеть, безмолвно глядя на висившуюся перед ним частицу России.

Будь проклят тот черный день, сказал он про себя и большие глаза его затуманились слезой. Он опустил лицо в ладони и беззвучно застонал.

С залива тянуло свежестью, солнце приятно пригревало, но Раймондо не чувствовал, не ощущал его ласкового прикосновения. В эти минуты он был далек от Стокгольма, от порта, от теплохода...

3

Ему удалось вырваться из ада. Но какой ценой! Если вспомнить, волосы дыбом встанут. Если взвесить, чаша содеянного зла перевесит чашу добра.

И все-таки цена была мизерной по сравнению с тем, что ему довелось увидеть.

Он шел на все, чтобы накопить деньги для выезда: ухаживал за собаками на вилле фабриканта, работал в качестве сиделки его престарелой матери, которая не могла ни пить, ни есть, и пища вываливалась изо рта, ежеминутно приходилось подсовывать под нее судно. Потом ходил по кварталам бедноты и искал девушек для публичного дома: за эту работу ему платили неплохо. Чего только он не претерпел на пресловутой «земле обетованной».

Как-то его прижало к стене дома такси, въехавшее прямо на тротуар. Выскочивший из нее водитель приставил к животу финку и, задыхаясь, прошептал:

— Если ты к обеду не приведешь домой Эстер, я вечером выпущу из тебя кишки.

За какой-то миг он весь покрылся испариной: ведь в кармане у него лежал спасительный билет на теплоход, стоивший ему многих месяцев нечеловеческой работы. К обеду он привел Эстер домой, держа за руку, выкрыв ее у новой хозяйки, а наутро с тощим портфелем в руке стоял на палубе судна и, не скрывая слез, навеки прощался со страной, которая разбила ему жизнь и исковеркала судьбу. Прощаясь, осыпал ее проклятиями.

Наверное и его имя проклято многими семьями, думал он, но он совершал грязную работу, чтобы выжить, отвергая

только один способ—подлость. И убеждал себя, что подлости не совершал...

Марсель встретил его жарой, толпами людей, потоком автомобилей. Вокруг были незнакомые люди, незнакомая жизнь, незнакомый язык. И надолго ли хватит тех двухсот долларов, которые упрятаны в прорези широкого кожаного ремня? Раймондо некоторое время простоял в порту, глядя на спующие в гавани катера и небольшие суденышки, потом медленно, бесцельно пошел по улице.

Он не помнил, сколько времени так шел, поняв интуитивно, что обращаются к нему. Полный мужчина в белом халате стоял у зарешеченного проема двери, скрестив руки на груди. Только сейчас Раймондо почувствовал вкусный запах, исходящий из-за решеток.

Мужчина снова что-то спросил его по-французски. Раймондо виновато улыбнулся.

— Я не понимаю вас,—сказал он по-английски.

Лицо мужчины нахмурилось и он на ломаном английском спросил:

— Ты не француз?

— Нет.

Подняв голову, Раймондо увидел, что стоит у отеля «Европа».

— Я думал, ты француз,—сказал с явным сожалением мужчина.—Может, алжирец?

— Нет.

— Похож на нас, южан, очень похож. Откуда же ты? А, догадываюсь, испанец...

Что-то надо было ответить. Но что? Сказать правду? Как ее воспримут? А впрочем, он может ничего и не отвечать и продолжить свой путь. Но Раймондо вдруг машинально сказал:

— Испанец.

Мужчина оживился:

— Как звать?

Роман,—чуть не сорвалось с губ, но он спохватился и произнес:

— Раймондо.

— Раймондо? Отлично, Раймондо... Хочу предложить тебе работу. Вчера скончалась посудомойка, тридцать шесть лет проработала здесь. Без нее как без рук.

Посудомойкой...—усмехнулся Раймондо, и тут же сказал себе: соглашайся, кто знает, подвернется ли завтра какая работа.

Мужчина усмехнулся:

— Не ломайся, парень. Завтра и эту не найдешь. Пойдем-ка, покажу, что тебе надо делать.

Он свернул в переулок и пошел тяжелой, вперевалочку, походкой. Раймондо последовал за ним.

Через некоторое время в халатике с чужого плеча он мыл посуду, а до слуха доносились разговоры и веселый смех женщин, и красивое слово, врезавшееся в сердце, как нож:

— Эспаньол...

Мимо проходили девушки, задевая его локтем или упругим бедром, женщины любопытно глядели, как он споро справлялся с грязной посудой и восклицали: «О ля-ля», завершая восклицание длинной тирадой, которую он не понимал... Наконец, выкрав свободную минуту, он вышел во дворик, присел на опрокинутый ящик и закрыл глаза. «Что меня сюда гнало,— спросил он себя,— и почему именно сюда, в Марсель, а не поближе... Тьфу ты, о чем я думаю. Былого не вернешь, и нечего травить душу».

— Утомился, Раймондо?

Рядом стоял знакомый мужчина в белом халате. Благотель, усмехнулся Раймондо, и вслух сказал:

— Нет, я привык работать. Не спросил, кем вы являетесь здесь...

— Не хозяин.—Тот засмеялся.—Нет, Раймондо, я повар. Варю, пеку, жарю уже более тридцати лет. А тебя я сразу заметил. Вижу, отрешенный от мира идет человек, надо помочь. Да и нам нужны рабочие руки. А ты быстро освоился... Очень быстро.

— Я много профессий освоил за короткое время,—сказал задумчиво Раймондо.

— Приходится. Все приходится в жизни. Тебе есть где жить? Раймондо растерялся.

— Как-то не подумал еще...

— Наша повариха Жанин сдает комнатку и берет недорого. Так что тебе повезло, парень.

И, похлопав Раймондо по плечу большой пухлой рукой, он пошел на кухню.

Было около четырех часов, когда добродушный повар окликнул его:

— Раймондо, оставь посуду, иди обедать.

Раймондо вымыл руки, снял халат, причесался и прошел в небольшой зал. Ресторан в это время закрывался на перерыв и обслуживающий персонал садился за стол, выкладывая каждый свой пакет. Повар протянул ему бутерброд, налил стакан вина из бутылки, подмигнул дружески:

— Ешь, не стесняйся. Завтра ты меня угостишь.

Раймондо ловил на себе косые взгляды, одни были насмешливые, другие жалостливые, третьи ехидные. Конечно, они правы, я для них чужак, сказал он про себя, глядя на бутерброд, и я их понимаю и не обижаюсь.

— Ешь,—повторил повар,—времени у нас немного...

А потом снова был стук посуды, шум воды, смех девушек, и только в двенадцатом часу он вышел на улицу вместе с Жаннином.

Опускалась полночь. Жизнь города замирала. Жаннин шла быстро и говорила, говорила о чем-то, а он не понимал, она меняла интонации голоса, жестикулировала, пытаясь что-то ему втолковать, имитировала удары кулаками, ножом, драку и поминутно показывала на тесные темные улочки. И, наконец, Раймондо понял, скорее догадался, что ночью ходить здесь опасно.

Недолго прожил в Марселе Раймондо. Чуть больше двух месяцев. Отъезд его ускорили два обстоятельства. Какое из них было значительнее, он и по сей день не знает. Тоска? Страшная, безысходная? Или та драка в полночь? Когда его окружила дюжина подростков и стала избивать со словами: «выгребай карманы, подлый алжирец»... Он уже понимал французский язык, а драться научился на «земле обетованной», но их была дюжина, и они свалили его, надели, обчистили карманы и удрали. Хорошо, что не сняли пояс, думал про себя Раймондо, возвращаясь домой, и не воткнули нож. Ну надо же! Не хватало еще, чтобы из-за денег пырнули ножом.

Поздно ночью он подошел к старинному каменному дому, толкнул грубо сколоченную калитку и вошел в темень. На негодохнуло сыростью, мимо уха пролетела с писком летучая мышь. Он нащупал на стене выключатель, щелкнул им, но свет не загорелся, и он осторожно стал подниматься по каменной винтовой лестнице. Один раз ударился о чей-то рукомошник, другой раз зацепился за ящик. Наконец, добравшись до своей комнаты на третьем этаже, отпер тяжелую дверь и включил свет. Это была бывшая келья.

Раймондо снял рубашку, вышел на узкую площадку и долго плескался из рукомошника. Металлический язычок громко тьякал на весь дом и сноп света освещал лестничный марш. Вытершись грубым полотенцем, он разулся, вымыл ноги, потом прошел в комнату, затворил дверь, лег на железную кровать и уставился в потолок.

Так долго жить нельзя, надо на что-то решиться, сказал он себе и закрыл глаза.

Утром Раймондо был уже на автостраде Марсель-Тулуза. Шел он налегке: в левой руке держал портфель, правой—хлястик перекинутого через плечо пиджака. Был июнь.

Он надеялся, что кто-нибудь подберет его, но мимо со свистом проносились легковые автомобили различных марок и цветов... Раймондо прошел километров десять, когда рядом притормозила машина, открылась дверца и женский голос окликнул:

— Мсье, садитесь.

— Большое вам спасибо, мадам,—сказал он по-английски, опускаясь на переднее сиденье.

— О, ты не француз? Откуда идешь?

— Испанец,—коротко сказал Раймондо.

— О, испанец. Как же тебя звать?

— Раймондо.

— Меня Франсуаза.

Она длинно тараторила, глядя на дорогу, а Раймондо искоса поглядывал на нее. Женщине было лет тридцать пять-сорок. Одета в вельветовую куртку вишневого цвета и такую же юбку, она уверенно сидела за рулем. Черные, как смоль, волосы спадали на плечи. На матовом гладком лице выделялись большие серые глаза и накрашенные в кровавый цвет чувственные губы. Стрелка спидометра вздрагивала на отметке 110.

Раймондо почувствовал слабость, стала охватывать дрема. Он вздрогнул и открыл глаза... Франсуаза хлопала его рукой по колену.

— Эй, Раймондо, проснись. Я взяла тебя в машину, чтоб самой не уснуть, а ты навёваешь на меня сон.

Она включила приемник.

— Что же ты ушел из Испании?

— Путешествую.

— А почему изучал английский? Язык соседей не по душе?— Она бросила на него лукавый взгляд.

— Так уж получилось,—проговорил Раймондо.

По обе стороны дороги на холмы взбегали виноградники. Раймондо смотрел на них с удивлением. Он привык видеть огромные плантации, простирающиеся до горизонта, а здесь были небольшие площади, окруженные лесом.

— Эй, Раймондо, поговори со мной,—сказала Франсуаза, прервав его мысли...

— О чем, мадемуазель?

Она посмотрела на Раймондо и вдруг заливисто засмеялась.

— Ну и чудак, мужчина не знает, о чем говорить с жен-

щиной. Чудак. В таком случае, возьми на заднем сиденье бутерброды с ветчиной и вино и покорми меня. Да и сам поешь.

Он кормил ее забавно: подносил ко рту бутерброд, она откусывала, аппетитно жевала, отпивала вино прямо из горлышка бутылки и снова откусывала бутерброд.

— А теперь чашку кофе. Он в термосе.

— Везет мне на людей, черт побери,—подумал Раймондо, в одном только жестоко не повезло. В самом нужном. А в остальном везет, словно в рубашке родился.

В сумерках они въехали в Тулузу.

Франсуаза остановила автомобиль у отеля «Виктория», который расположился у железнодорожного вокзала. Раймондо видел сквозь стеклянную дверь, как она подошла к портю. И уже через минуту вышла с ключом в руке.

— Раймондо, ты не хочешь отдохнуть? Я очень утомилась в дороге.

Они поднялись на третий этаж. Номер был небольшой, но очень уютный. Голубые обои успокаивали глаз, ворсистый ковер заглушал шаги.

— Закажи ужин, я приму ванну.

— Но... я не знаю, что заказать,—сказал Раймондо.

— Закажи петуха в вине, салаты, шартрез и обязательно кофе.

Франсуаза скинула с себя одежду и пошла в ванную. Раймондо высоко оценил ее фигуру: она сохранилась прекрасно.

Раймондо вызвал официантку, которая оказалась очень молодой красивой брюнеткой, сделал заказ и опустился в кресло. Под шум воды и ласковое бормотанье, доносившиеся из ванной, он задремал. Проснулся от неясного ощущения: словно перед ним возникла из небытия Венера. Стояла Франсуаза бесстыдно обнаженная и красивая.

— Иди прими ванну, уже поздно.

Он лежал в теплой воде и чувствовал, как приятно отдыхают мышцы, потом услышал стук в дверь и понял, что принесли ужин. Когда он вошел в комнату, Франсуаза лежала на широкой кровати. Он прилег рядом.

Потом они лежали и смотрели в потолок.

— Мне лень ужинать,—сказала Франсуаза.

— Мне тоже.

— Послушай-ка, Раймондо, а куда ты вообще едешь?—спросила вдруг она, словно спохватившись.—В течение всего пути я не удосужилась спросить тебя.

— А куда я еду?—тоже удивленно спросил себя Раймондо. И вдруг оба засмеялись.

— Конечно, в Париж.—сказала Франсуаза.—Из провинции все едут в столицу. А ты случайно не талант?

— Нет. А что?

— Пропадешь. Один из французских классиков сказал: таланты рождаются в провинции и погибают в столице.

Я давно погиб, сказал про себя Раймондо, погиб для родных, для друзей, для Родины, для самого себя. Что я натворил, боже, что я натворил... Почему я дал обмануть себя этому выжившему из ума деду, зазвавшему меня в проклятый Израиль. Чего мне не хватало дома? Все было: и работа по душе, и любимая девушка... И друзья... Так нет, за границу захотелось дураку. Оставил могилу отца, погибшего в боях за Киев, и приехал в страну подонков, где и дед-то не оказалось в живых. Зазвали, подло обманули... Где был мой разум, где была моя совесть, почему она спала? Я все потерял. Я забываю свое имя, свой язык. Я не живу, я просто борюсь за существование.

На глаза навернулись слезы и стекли к вискам. Он смежил веки и долго лежал так, пока не уснул.

Ночью Франсуаза несколько раз будила его...

Утром их подняли солнечные лучи. Франсуаза первой вошла в ванную и уже оттуда крикнула:

— Раймондо, закажи завтрак.

После завтрака они прошли по безлюдным и чистым улочкам, наслаждаясь тишиной и прохладой, потом сели в машину и тронулись в путь. В Париж.

5

В Париж они въехали на исходе дня. Город утопал в лимонном цвете заката. На переполненной толпами людей улице Франсуаза остановила машину и направилась в кафе.

Раймондо глядел на парижан и неясное, смутное чувство тревоги овладевало им. Кому здесь я нужен?—спросил он себя и усмехнулся. Жить в Париже, надеяться на работу—пустое дело. Вон сколько их, охотников до денег. Они—корни Парижа, а я... я—как листок с дерева. Гонит его ветер по свету, пока не свернется он где-нибудь и не превратится в перегной. Да и не всякий листок годится для перегноя... Он перевел взгляд на заднее сиденье. В углу лежала сумка. Неясная сила заставила его протянуть руку и открыть сумку. Он не поверил себе, закрыл глаза и снова раскрыл их. Нет, это был не сон. В сумке лежала пачка стофранковых ассигнаций. Он осторожно пощупал их пальцами, потом машинально вытащил шесть ассигна-

ций, сложил их аккуратно и засунул в прорезь ремня. Туда, где хранились двести долларов. Потом закрыл сумку и как-то спокойно, отрешенно подумал: вот я совершил еще одну подлость. А впрочем, она не тяжелее, чем все остальные...

Из кафе вышла Франсуаза. Она устало села за руль, завела машину.

— Муж дома. Я выходила позвонить. А ты и не догадался?

— Нет,—откровенно признался Раймондо.

— Куда же ты сейчас, тебе и остановиться негде.

— А отели на что?

— Верно, Раймондо. Но выбери отель поскромней. И позвони мне обязательно. Понял? Обязательно. Я положила визитку тебе в пиджак.

У вокзала Сен-Лазар Франсуаза его высадила, подставив щеку для поцелуя. Когда зеленый «Мерседес» скрылся из виду, Раймондо накинул на плечи пиджак и с портфелем в руке пошел мимо вокзала. Ему было все равно куда идти, у него в этом городе не было никакой цели. Над домами, над гранитными мостовыми застыла жара. Дышалось тяжело, в воздухе висел смрад выхлопных газов. Проблуждав несколько часов, Раймондо зашел в сквер, сел на скамейку и задремал.

В полудремотном состоянии Раймондо находился всю ночь: открыв глаза, он оглядывался вокруг и снова закрывал слипавшиеся веки. На рассвете, разбитый, он встал и медленно побрел по улочке в гору и спустя полчаса вышел к белокаменному храму. Отсюда, с холма, открывался Париж: город лежал внизу как на ладони, укрытый легкой сизой дымкой. Раймондо сел на гранитный парапет и долго глядел, как дымка становилась сиреневой, потом розовой, а затем и вовсе исчезла, растаяла, и золото солнца омыло синее небо Парижа.

— Мсье художник?

Раймондо оглянулся. Нестарый еще мужчина шаркал метлой по асфальту.

— Что это за храм?—спросил Раймондо, не ответив на вопрос.

Мужчина удивленно уставился на него. Не понимает по-английски, решил Раймондо и попытался по-французски.

— Как имя храму?

— А... Сакре-Кёр. А ты что, не француз?

— Нет.

— А, понятно.

— Телефон, телефон где здесь?—неожиданно для себя спросил Раймондо.

— За углом.—Мужчина махнул в сторону рукой.

Раймондо опустил руку в карман пиджака и вытащил визитную карточку Франсуазы и пять стофранковых ассигнаций. Почему пять и почему в кармане, ведь он брал шесть... Он просунул пальцы в прорезь ремня, достал доллары и франки, пересчитал их и, вздохнув, сказал: какая же я скотина. Франсуаза положила мне незаметно, пощадив мое самолюбие, пятьсот франков, а я стащил у нее... Какая же я скотина. Потом сложил аккуратно все ассигнации и засунул их в тайник.

Звонить Франсуазе Раймондо уже не осмелился. Он обошел Сакре-Кёр, последовал по узкой улочке и вскоре поравнялся с идущей впереди грузовой, похожей на черепаху, машиной. Она еле ползла. Крепкий плечистый негр в рабочей спецовке сновал между машиной и воротами как челнок: хватал с земли полиэтиленовые мешки с мусором, бросал в машину и снова шел за мешком.

— Эй, парень, не хочешь подзаработать?—крикнул негр.

— Что ты сказал?—спросил Раймондо по-английски, не поняв его.

Негр остановился только на минуту, чтобы окинуть его взглядом, затем снова принялся за работу.

— Ты кто, англичанин?—спросил он уже по-английски.

— Нет, но допустим.

Негр весело рассмеялся.

— Допустим, говоришь? Дело твое. Не хочешь ли заработать несколько франков?

— Не помешает,—ответил Раймондо.—Все равно делать нечего.

— Раз так, включайся. Брось пиджак и портфель в кабину и возьми халат.

Раймондо облачился в темный жесткий халат, который протянул ему смуглолицый водитель, и приступил к работе.

— Откуда ты появился здесь?—спросил его снова негр.

— Из Тулузы. Вру, из Марселя.

— Понимаю. Путешествуешь?—он снова засмеялся.—А чем ты там занимался?

— Варил, жарил в отеле «Европа».

— Поваром был, значит.

— Поваром.

— Ну и здесь у тебя работа не хуже. Там на стол подавал, здесь со стола убираешь.

Он снова весело засмеялся.

— А вообще, парень, тебе повезло. Мой напарник вчера в аварию попал. Банда мотоциклистов на него наехала, сбила. Ноги переломали... Утром сообщили из полиции.

«Мне удивительно везёт на людей»,—опять подумал про себя Раймондо, и горько вздохнул,—«только в главном жестоко не повезло».

— Что это за кварталы?—спросил Раймондо.—Узкие улочки, старые дома, веет стариной...

— Монмартр. Ничего не слышал о нем?

«Да ты посмотри»,—воскликнул про себя Раймондо,—«это Монмартр! Знаменитый, воспетый Монмартр. Ну надо же было мне сюда попасть...»

— Ты еще поглядишь ночью, что здесь делается. О-ля-ля. Страсти горят до утра. Слушай, приятель, а ты где остановился?

— Пока нигде.

— Не тужи. Устроим. Мы тут недалеко живем, на улице Мон-Сени. И недорого берут. Не против будешь жить рядом с нами?

— Отчего же? Нет.

— Ну и отлично.

В конце дня Раймондо лежал на железной кровати. Джеймс, так звали негра, сдержал свое слово и привел его на улицу Мон-Сени, в серый трехэтажный дом. И теперь он отдыхал в полутемной каменной клетке, окно которой выходило на шумный двор, а стены источали удушливый запах сырости. Джеймс с друзьями звали его на прогулку, но он отказался, сославшись на усталость. И сейчас, лежа на худом матрасе, он на самом деле чувствовал ноющую усталость во всем теле.

Уснув где-то под вечер, под томон и крики детей, он уже не просыпался до утра. На следующий вечер он не упустил возможности погулять с новыми друзьями. Но до этого, в полдень, он был удивлен и поражен открытием.

Миновав отель «Асторию», у резных металлических ворот он схватил два увесистых полиэтиленовых мешка, взвалил на плечи, и, шагнув к машине, бросил в ее чрево. Дойдя до угла улицы, он разогнулся, поднял голову. И застыл, глянув на трафарет. Он сначала не захотел поверить. Здесь, в Париже, и слово «Москва»?

— Джеймс, что здесь написано?—он попытался придать голосу равнодушный тон.

— Улица Москвы.

— И чего ради?

— Да ничего, парень. В Париже найдешь названия столиц всех государств мира.

Ночью, растянувшись на кровати и перебирая события ми-

нувших дней, Раймондо вдруг понял, что надо как можно быстрее уезжать из этого города.

Но ведь это Париж, сказал он себе, когда я еще увижу его, это город, воспетый в книгах и песнях. Конечно, это Париж, но разве я стремился к нему,—опроверг он себя,—разве я желал жить в нем? Нет, нет, мне надо быть поближе к своей земле, как можно ближе, я вряд ли когда и ступлю уже на нее. Но быть хотя бы близко, чувствовать в ее ветре запах поля и леса... Я должен уехать... Я должен уехать...

6

Где-то в глубине души Раймондо, как маленький воробышек, теплилась надежда найти приличную работу и пожить в Париже. Она часто стучалась в сердце, напоминая о себе. И однажды вечером Раймондо решил, наконец, обойти рестораны. Он не владел такой специальностью, чтобы пойти на завод или фабрику. Да и будь она у него, кто бы его взял... Тут своих безработных скопилось сотни тысяч. А кухня... она не пользовалась столь высоким авторитетом у парижан, не импонировала им, и потому в ресторане работали итальянцы, турки, вьетнамцы...

В районе вокзала Сен-Лазар Раймондо зашел в отель «Флорида». В вестибюле все блистало. Ярких тонов обои, мягкая мебель, призрачный свет, льющийся из плафонов, плотный ковер, в котором утопали ноги—вся эта строгая, сдержанная, красивая обстановка опьянила его.

Молодой голубоглазый портье с тонкими бакенбардами на бледном худом лице подозрительно взглянул на него, выслушал, позвонил по телефону и, положив трубку, сказал:

— Нет, мсье, ресторану люди не нужны.

Раймондо не сдвинулся с места. Уют и тепло отеля разбудили в нем далекие воспоминания, но их прервал голос:

— Чем еще могу служить, мсье?

Раймондо повернулся и пошел из отеля.

Пройдя несколько сот метров, он вошел в отель «Морну», обвел взглядом вестибюль, утопавший в сине-голубом свете, и, не глядя на портье, придав походке уверенность и независимость, прошел в ресторан. И здесь ему не сопутствовала удача.

А может, следует уйти от людных, бойких мест в тихие районы, решил он и свернул в первую попавшую улицу.

В этот вечер Раймондо заходил в отели «Фонтене» на Большой улице, «Понтиву» на улице генерала де Голля, «Ронжери» на Больших Бульварах и во всех натыкался на один ответ:

— Нет, мсье, люди не нужны.

Проходя по бульвару Османа, Раймондо вошел в отель «Амбассадор» и уже прошел мимо портье, когда что-то заставило его остановиться. Он осторожно обернулся. Четверо мужчин говорили между собой по-русски, весело, непринужденно, чему-то смеясь, один из них переводил портье на французский язык и доброжелательно улыбался.

«Бог ты мой,—простонал про себя Раймондо,—как я соскучился по языку, как мне не хватает его. Подойти, заговорить с ними... Но как они это воспримут... Сказать, что я люблю этот язык? Но простой любитель так не говорит, как я. А если признаться, кто я, как воспримут? Спокойно? С жалостью? С ненавистью? А может, с ненавистью? Я боюсь этого. Нет, я не подойду к ним... Я подойду, будь что будет, подойду... Нет, нет...»

Он уперся взглядом в настороженного русского, перегова-ривавшегося с портье, и отвел глаза.

— Мсье что-то хотел спросить?—сказал русский по-французски.

— Нет, мсье, ничего,—ответил Раймондо по-английски.

— О, мсье не француз?

— Нет, испанец...—И горячая кровь ударила в лицо Раймондо. Трус, сказал он себе, подлый трус, ты опять сделал шаг назад. Уже который шаг...

— Что это за тип?—спросил один из русских того, кто говорил с Раймондо.

— Испанец.

— Испанец?.. А чем он занимается в Париже?

— Чем и другие... Думаю, путешествует в поисках работы...

Он подошел к Раймондо и протянул ему значок.

— Возьмите от меня на память, сувенир.

— Спасибо, мсье.

Русские вышли на улицу.

Раймондо осторожно разжал ладонь. У него перехватило дыхание. Он закрыл глаза: так сильно закружилась голова. Потом тяжело разлепил веки и снова взглянул на ладонь. На ней лежал большой рубиново-желтый значок с изображением Красной площади. Раймондо, вдруг спохватившись, выскочил на улицу, но русских уже не было. Он добежал до угла, потом в обратную сторону... Их нигде не было.

Что же, так суждено судьбой, сказал про себя Раймондо, пряча значок в прорезь ремня. Еще один шаг назад... Велика ли моя вина в том, первом шаге? Вина... Я жестоко обманул-ся. Да, обманул-ся, не послушался даже родную мать... А потом

Была и вина... Была вина... Иначе я мог бы подохнуть с голоду. Да и вина ли это, если я продал адреса и имена друзей и знакомых. Вина. И подлость. Я продал свою честь, совесть за кусок хлеба. Но я мог умереть, сдохнуть, как пес, если бы не эти адреса, они помогли мне выкарабкаться со дна зловонного колодца «земли обетованной»... И с них не убудет... Не убудет?.. А если кто-то из тех, кого я предал, обманется, как и я, поверит и обманется, или где-то уже страдает, осыпая проклятиями этот мир, который перед ним вовсе не виноват... Страдает и гибнет... Это моя вина. И нет мне никакого прощения.

Раймондо опустил голову и пошел, не разбирая улиц.

— Мсье, вам не требуется работа?

Раймондо поднял голову, всмотрелся. Перед ним стоял смуглый, черноволосый мужчина.

— Какая работа?—не понял Раймондо.

— Несложная работа на кухне.

Раймондо, наконец, очнулся и огляделся. Улица была безлюдна. Над парадным входом горела реклама: отель «Ваграм».

— Благодарю, мсье,—сказал тихо Раймондо.

— Как хотите... я думал...

— Поздно, друг, я хочу спать.—И Раймондо продолжил свой путь.

7

Несколько дней спустя в районе вокзала Сен-Лазар Раймондо случайно столкнулся с Франсуазой. Перетаскивая полиэтиленовые мешки от парадных домов к мусороуборочной машине, он не обратил внимания на бесшумно остановившийся зеленый «Мерседес». И только голос заставил его замереть и вобрать голову в плечи. Франсуаза, сказал он себе. Откуда? Здесь! Потом радостно забилося сердце... Франсуаза!.. И вдруг страх сковал его.

— Раймондо...

В ее голосе чувствовалась неуверенность и нерешительность.

Ассигнации... Заметила ли она пропажу ассигнаций... Как не заметить... Срам, какой срам... Ассигнации, она простит мне их?..

Эта мысль сверлила мозг Раймондо, он вошел в подъезд дома и присел на ступеньку. Надо переждать, сказал он себе, пусть подумает, что обозналась. А может, я обознался, и вовсе это не Франсуаза и окликали не меня, а кого-то другого. Да, да, может это не Франсуаза. Но надо выходить, машина, наверно, ушла далеко и Джеймс нервничает.



Раймондо взвалил увесистый мешок на голову, прикрыв лицо, и вышел на улицу. Зеленого «Мерседеса» не было.

Эта встреча не выходила у него из головы весь день и в течение этого длинного дня он строил различные предложения, как бы поступила Франсуаза, уличив его в воровстве. Заявила бы в полицию? Простила бы? Сжалилась бы? Только не последнее. Жалость вызывала в нем чувство омерзения. Как и человеческая подлость. И сам он казался мерзким себе.

Та бессонная ночь с размышлениями о запахе родной земли и эта неожиданная встреча с Франсуазой заставили его принять окончательное решение.

На следующий день самолет французской авиакомпании «Каравелла» уносил Раймондо в Стокгольм. Он сидел у иллюминатора, глубоко погрузившись в кресло, и дремал. Не хотелось ни думать, ни строить планы. Ну, что он мог наметить на завтра, если не знал, где будет спать, если он жил, как перелетная птица. Он был еще рад тому, несказанно рад, что мог довольно легко переезжать из одной страны в другую.

Сначала на французском, а потом и на английском языке стюардесса объявила пассажирам, что ввиду ураганного ветра, свирепствующего над Норвегией и Швецией, самолет вынужден сделать посадку в Копенгагене. «Каравелла» стала заметно снижаться, совершила круг над проливом, под крылом проплыла шведская земля, потом заблестало зеркало воды Зунда. Через несколько минут «Каравелла» уже легко и стремительно бежала по бетонной полосе аэродрома Каструп, гася скорость.

Пассажирам разрешено было отлучиться до вечера, и Раймондо отправился в город. Он слышал, что Копенгаген давно соперничает с Парижем, и теперь, воспользовавшись случаем, решил посмотреть, осилит ли он соперничество. Город приятно поразил его обилием зелени и многоцветьем. Фасады магазинов были одеты рекламами всевозможных цветов—от красных и оранжевых до голубых и белых. Улицы пестрели, словно радуга. Стены домов увивал плющ; в плотной зеленой массе блестящими дырами зияли проемы окон, на балконах торчали разноцветные шляпы зонтов. Но больше всего Раймондо поразила и... смутила улица, названия которой он не сообразил прочесть. Она отходила от нарядной широкой и уютной Вестерброгаде, как аппендикс. Здесь вольготно разместились магазины, в которых продавалась всевозможная порнографическая литература, группы людей разных возрастов разглядывали их без каких-либо эмоций, как знакомый журнал или газету. В кинотеатрах демонстрировались сексуальные и порнографические фильмы.

Реклама была беспардонная: штриховые рисунки изображали женщин и мужчин в различных грубых позах.

Раймондо медленно шел по улице. На одном из перекрестков на невысоком табурете восседал хиппи, вытянув ноги, и держал в руках шест. Шест венчался огромной пятерней, вырезанной из фанеры. На ней крупно и броско значилось: «Super sex cinema»... Большой палец указывал за угол, а сам хиппи был равнодушен и безразличен ко всему. Чуть поодаль от него на солнечной стороне, прислонившись к стене, сидела дюжина длинноволосых.

Раймондо горько усмехнулся: такой картины, такого живописного полотна я еще нигде не видел. В этом Копенгаген условно переплюнул Париж. Раймондо продолжал путь и обратил внимание на таблички и вывески, прибитые у подъездов домов, почти рядом с порномагазинами. Он долго вчитывался, пока, наконец, не понял их предназначенье. На вторых этажах, над магазинами, размещались интимные клубы и клубы встреч. Иначе говоря, публичные дома. Распахнутые окна закрывали жалюзи, на дверях, выходивших на изящные балкончики, свисали тяжелые гардины.

Улица вывела Раймондо в центр города, на Новую королевскую площадь. Постояв некоторое время под развесистым деревом, укрываясь от палящих лучей солнца, он повернул налево, обойдя собор, не спеша пошел по теневой стороне и вскоре очутился у Тиволи. В парк он не пошел, в кармане не было крон, а доллары разменивать не хотелось. И вернувшись на площадь, он свернул к бульвару и опустился на траву. Она опьянила его душистым запахом. Он лег навзничь и подложил под голову портфель. Рядом в купальных костюмах сидели и лежали мужчины, женщины, дети, подставив белые тела летнему солнцу. День был горячий, лучи быстро накаляли одежду и вскоре Раймондо последовал примеру копенгагенцев: он разулся, снял с себя брюки, рубашку, майку и остался в плавках.

К вечеру Раймондо вернулся в аэропорт и узнал, что рейс в Стокгольм задерживается до утра. Идти в город ему уже не хотелось.

8

Три огромные собаки ворвались в зал и помчались, резвясь, по сверкающему полу. Люди повскакивали с мест, забились в угол, женщины завизжали.

— Эдди, Сквайр, Вилли,—закричала женщина, вбегая вслед за ними.—Эдди, Сквайр, Вилли...

Раймондо не спускал с собак глаз. Они были великолепны. Громким, властным голосом он заставил их остановиться, а потом и подойти. Хозяйка собак обратила на него удивленный взгляд.

— Друг мой, вы любите псов?

— Как сказать, фрау...

— Мисс,—поправила она.—Я англичанка.

— Как сказать, мисс... Я укротитель...

— О, прекрасно, вас мне бог послал. Помогите усадить их в машину.

Когда, наконец, собаки уселись на заднее сиденье ярко-красного «Форда», женщина обратилась к Раймондо.

— Благодарю вас, друг мой. Куда же вы улетаєте?

— В Стокгольм, мисс...

— С трупой?

— Один.

— Как так, друг мой?

— Видите ли, я ищу работу, в Стокгольме мне...

— Да будет вам, друг мой. Хорошие укротители нужны и в Копенгагене. А пока вы можете поработать у меня...

Раймондо поднял на нее удивленные глаза.

— Видите ли, друг мой. У меня был рабочий, который ухаживал за садом и псами... Убежал. В неизвестном направлении. А с ними я одна не могу совладать,—и она кивнула в сторону собак.

— Благодарю вас, мисс, но мне надо в Стокгольм... У меня и билет в кармане. Вот только рейс никак не объявят,—а про себя подумал: боже, неужели я опять смогу стать укротителем. Сколько лет прошло, как я перестал дрессировать животных, разучился. Потерял волю, уверенность... Но сейчас разве я не был волевым... Они мне подчинились.. Значит, я еще могу вернуться к своей профессии...

— Да, над Швецией идет циклон... Послушайте-ка, друг мой, садитесь в машину и поедете. Стоимость билета я вам возмещу.—Она засмеялась.—Не сердитесь на меня, это так, к слову. Нет, на самом деле, вы можете устроиться в Копенгагене. Он не хуже Стокгольма, холодного, сырого города. Вам здесь понравится, садитесь-ка в машину. А пока на расходы вот, возьмите,—она порылась в сумочке и протянула ему сто-долларовую бумажку.

Может, на самом деле пожить немного здесь, спешить мне некуда,—и Раймондо горько усмехнулся. Он сходил за своим портфелем, сел в машину, рядом с незнакомкой, и «Форд» тронулся с места.

— Вас мне бог послал, друг мой,—сказала женщина, внимательно глядя на дорогу.—Такая редкая профессия—укротитель... Если бы не вы, я бы не справилась с ними. Ну надо же так случиться, приехала проводить подругу, она улетела в Лондон, а эти друзья вылезли из машины... Когда был жив супруг, они буквально ластились. А сейчас стали... ну просто дьяволы...

— Собаки великолепные,—сказал Раймондо и обернулся назад, на дорогу.

— Пусть вас не тревожит, друг мой, что мы не въезжаем в город. Я живу на вилле, на берегу залива Зунд. Кстати, в ясную погоду с нашего берега видна Швеция. Город Мальмё. Не пришлось бывать?

— Нет, мисс.

— Злачный город. Уйма казино, интимных клубов, домов молодежи. Вы хоть немного представляете, что это такое?

— Если чем-то они отличаются от салонов эротики и порно-хаузов, что на площади Пигаль, то нет...

— Ах, так вы были на площади Пигаль?

— Жил недалеко, мисс.

— Ну, в таком случае вам нечего и объяснять.

Вилла незнакомки оказалась двухэтажной, с мансардой. Мансарду она предоставила Раймондо. Он принял ванну, полез в холодную накрахмаленную постель и вскоре уснул.

Утром его разбудило солнце. Раймондо подошел к окну. День был ясный и прозрачный. С Зунда повеял свежий ветерок. Далеко впереди, за синей водой пролива, тянулся шведский берег, виднелись высокие белокаменные дома.

Потом его пригласили к завтраку на веранду, куда чуть погодя вышла и хозяйка виллы. Раймондо только сейчас разглядел ее. Это была женщина лет сорока пяти, с моложавым лицом, продолговатыми глазами, довольно острыми.

— Доброе утро, мисс...

— Доброе. Зовите меня мисс Элли Дорби. Нет, мисс Элли. Так вы увидели Швецию или еще не успели, друг мой? Как мне вас звать?

— Раймондо... Пришлось полюбоваться, она смотрит в мое окно.

— Превосходно. Она будет вас манить, но не поддавайтесь искушениям... Так вы француз?

— Нет, мисс, испанец.

— О, превосходно, темпераментный испанец... Бедные мои псы, замучаете вы их.—И она звонко засмеялась.

После завтрака Раймондо ознакомился с вверенным ему

хозяйством, большим, слегка запущенным садом и тринадцатью собаками. Держать собак было большой страстью мисс Дорби.

Спустя неделю сад был приведен в порядок, а еще через некоторое время собаки мисс Дорби, разбившись на две команды, забавно играли в футбол под залиvistый смех хозяйки и восторженные возгласы и хохот ее друзей.

Раймондо жилось на вилле неплохо. Он ни в чем не был ущемлен, имел доступ к моторной лодке, на которой катался в проливе, часто к концу дня на велосипеде отправлялся в Копенгаген. Мисс Дорби не раз приглашала его к своим друзьям, но он находил всяческие причины, чтобы не идти к ним. И не шел. С большим удовольствием проводил он долгие часы с собаками, за дрессировкой, вспоминая лучшие дни своей жизни.

Возвращаясь однажды с вечерней прогулки, Раймондо обратил внимание на собачий визг, доносившийся из гостиной. Он прошел было мимо, но потом остановился: в визге ему почудилось отчаяние и боль. Раймондо осторожно постучался в дверь, не дождавшись ответа отворил ее и замер, пораженный. Мисс Дорби остервенело стегала бичом белого королевского пуделя. Оскалив зубы, собака то забивалась в угол, пытаясь увильнуть от хлестких ударов, то юлила от боли, и визг ее раздирал душу.

Первое желание Раймондо было подбежать к мисс Дорби и вырвать из ее руки бич, но он сдержал себя.

— Мисс Дорби...—проговорил он, голос получился дрожащий, слабый, и потому он повторил, но уже громче,—мисс Дорби!

Мисс Дорби застыла с бичом в вытянутой руке, потом медленно повернулась. На лбу у нее блеснули капельки пота.

— Кто вам позволил войти?—жестко спросила она, отшвырнув бич в угол, к собаке.

— Я стучался, но вы не изволили слышать.

Мисс Дорби зло взглянула на Раймондо и устало опустилась в кресло.—Чего вы стоите? Садитесь, друг мой, раз уж вошли без приглашения.—Лицо ее озарилось деланной улыбкой.—Дрессировщик собак... Вы бы поинтересовались, почему я его пожурила.

— Пожурили, мисс?—сказал с легкой иронией Раймондо.—Так почему ж?

— Он опрокинул на мое новое платье кофе,—вдохнула мисс Дорби.

— Королевский пудель пьет кофе?

Мисс Дорби рассмеялась:

— Да вы к тому же и шутник, мой друг. Забудем случившееся, идите отдыхать. Я очень устала. Собаку уберите.

К завтраку Раймондо вышел утомленный от бессонницы: сцена с королевским пуделем долго не давала ему уснуть.

— Друг мой, как вы спали в эту ночь?—спросила мисс Дорби, подходя к столу. В платье бирюзового цвета, улыбающаяся и элегантная, она выглядела великолепно.

— Неплохо, мисс, благодарю вас.

— Сновидений не было, ну, из тех, что не дают покоя одиноким людям?

Мисс Дорби откусила сэндвич, глаза ее улыбались.

— Что-то такое было, мисс, но, по-моему, объясняется это одиночеством.

— Чем же, если не тайна?—игриво спросила мисс Дорби.

— Разными бытовыми сценками.

Мисс Дорби, отпила кофе, поджала губы и бросила на Раймондо острый взгляд.

— Ваше настроение, друг мой, усугубляется одиночеством,—произнесла она, разделяя слова.—Вы жестоки к себе, непростительно губите свою молодость.

Как-то воскресным днем гости мисс Дорби, уютно расположившись в саду в бамбуковых креслах и успевшие насладиться светскими сплетнями, вдруг в один голос потребовали представления. Мисс Дорби не заставила себя долго просить и велела Раймондо начинать аттракцион.

Веселый смех друзей мисс Дорби свидетельствовал о том, что номер удался: собаки рыча и хрипя, весело гоняли мяч. Раймондо со свиском метался между футбольными воротами, когда увидел в кресле, стоявшем неподалеку, бич. Пробегая мимо, Раймондо схватил его, но не успел сделать и десятка шагов, как белый королевский пудель с разгона бросился на него и вцепился в бедро. Боль заставила Раймондо истошно закричать, но крик замер где-то в глубине души; разинув рот, он схватил пса за горло, пытаясь оторвать от себя. Жесткие, сильные пальцы его чувствовали горячее горло пса, ощущали пульсирующие артерии, он смотрел в горящие злобой глаза и никак не мог понять причину, вызвавшую собачью ярость. Но только до него стал доходить смысл происходящего, как в спину, между лопатками, что-то больно ударило. Раймондо наконец оторвал пса от себя, отшвырнул и обернулся. В этот самый миг к ногам упал туфель мисс Дорби. Упал рядом с другим, перламутровым, с высоким острым каблуком.

Раймондо отвернулся, прижал кровоточащую рану ладонью и, хромя, пошел прочь.

Вечером Раймондо уложил свои вещи в портфель и вышел, оставив на столе записку следующего содержания:

«Мисс Дорби, благодарю за все. Пришла пора уехать. Не хочу быть четырнадцатым псом в доме. Будьте здоровы».

9

Раймондо оторвал лицо от ладоней, поднял голову. Положив тяжелую руку ему на плечо, рядом стоял дюжий полицейский.

— *Что случилось?*

Раймондо тихо и зло ответил по-английски.

— *Ничего не случилось.*

— *Янки?—Полицейский, казалось, решил вывернуть его взглядом наизнанку.*

— *Нет.*

— *Кто?*

— *Испанец.*

— *Где ты рабтаешь?*

— *Служитель в зоопарке.*

— *Как имя?*

— *Раймондо... Раймондо Гарино...*

Раймондо взглянул на часы, присвистнул и сказал себе:

Мне надо быть на работе. Скоро представление.

Он встал, окинул взглядом теплоход и, не обращая вниманця на полицейского, пошел по набережной.

В два часа Раймондо давал представление. Он вошел в вольер к слону и громко сказал:

— *Здравствуй, Элефант. Я принёс тебе сладости.*

Слон медленно подошёл и принялся водить хоботом по карманам.

— *Я принёс тебе сладости,—повторил Раймондо.*

Слон оторвал задние ноги от земли, встал в стойке и затрубил.

Раймондо поднёс к хоботу горсть сахара, слон опустил ноги и низко склонил голову в знак благодарности.

Публика захлопала в ладоши. Раймондо лег навзничь на землю и громко сказал:

— *Элефант, покажи, как ты меня жалеешь.*

Слон медленно перенес через него одну ногу, вторую... Раймондо глядел снизу на глыбу серых мышц, на гору мяса и задумался, что бы произошло, если бы слон опустил на него ногу? Произошло бы что-то жуткое... Но дальше он не давал развиваться своему воображению. Раймондо был умелым и отважным укротителем, любил зверей, уважал в них звериную непримиримость к неволе, но больше—расположение к человеку, которое приходило с годами и во многом зависело от укротителя. Но он никогда не позволял себе

рисовать в воображении конфликт со зверем, крах человека, его поражение.

После очередной порции сахара, слон закружился в вальсе, как только может кружиться такая глыба, держа на хоботе своего друга.

Восторгу зрителей не было конца.

Раймондо оказался для зоопарка находкой. Конечно, здесь никто не знал и не ведал о его профессии, а сам он не хотел об этом говорить, желая навсегда забыть своё прошлое, воспоминание о котором ему приносило неимоверные страдания.

Но однажды Пат заметил его занятия со слоном. Что-то заподозрил, но дальше этого не пошел, а может—не хотел идти. Он и посоветовал Раймондо давать представления, что немного увеличит его бюджет.

Представления Раймондо стали привлекать все больше публики, зоопарк заполняли взрослые и дети. И Раймондо, забыв на время все свои горести и невзгоды, увлекался любимой работой, как в далекие годы...

После представления Раймондо заспешил в город. Он почти бежал по узким средневековым улочкам острова Стаден. Его манил на острове Сёдермальм не Королевский дворец и шпили древних соборов, не позеленевшие памятники монархам и королевские гвардейцы. Его звала набережная острова Сёдермальма, где стоял белоснежный теплоход. Раймондо быстро пересек пролив по мосту, соединяющему оба острова, свернул на набережную—поднял голову. Возвышавшаяся над набережной Мосебанке, или Моисеева гора, искрилась в солнечном свете. Это был стокгольмский Монмартр. Только на этой площади не рисовали и не продавали картин. Здесь художники писали за ставнями, здесь жил бедный люд.

Сам Раймондо жил недалеко от Светлой Северной Церковной улицы, чрева Стокгольма. Почему эта улица в старой части города, напигованная сексуальными магазинами, кинотеатрами по прокату порнофильмов, интимными клубами называлась Светлой Северной—он не знал. И ни у кого не мог узнать. Ирония судьбы? Чья-то дьявольская, хитрая выдумка? Он жил недалеко от нее, видел, как она опутывала людей, словно паутина, и постепенно свикся с ее существованием. Что же в этом плохого, пытался убедить себя Раймондо, ее создала природа по тем же законам, что и паутину, иссушающую свою жертву. Все по правилам, не нарушая равновесия сил в природе. Одни наслаждаются эротическими удовольствиями, другие продают эти удовольствия.

Раймондо сел на колено каменного чудовища и уставился на теплоход. Глядя на него, он пытался вспомнить запах родной земли. И не мог. Сотни дорог чужих стран иссушили и выветрили его, этот запах.

По трапу спустилась группа девушек. Затем девушки медленно пошли по улице, остановились, что-то обсуждая, и спустились на рыночную площадь, перед Домом Концертов они, изумленные, долго глядели на Орфея! Тот самозабвенно, испуганно играл на невидимых струнах лиры, и глаза его были устремлены на людей, которые стояли перед ним и внимали его

голосу. И рвущиеся вверх и плещущиеся при падении струи фонтана заглушали страстную песню Орфея.

Девушки безошибочно вышли к торговой площади на Сергелъторъет, словно уже были здесь, обошли крупные универмаги, осмотрели новые высотные здания и спустились в подземный «этаж». Раймондо хотел крикнуть—«не ходите туда, это не для вас», но что-то перехватило горло, и он устремился за ними, стараясь не упустить из виду. Подземный Сергель пользовался в Стокгольме дурной славой. Здесь были магазины, киоски, кафе, бары, места недорогих развлечений, толкались праздные зеваки, куражились пьяницы, обдeldывали свои темные дела спекулянты, скупщики краденого, сводники, сомнительные личности, наркоманы... Последние тут же принимали дурманное зелье и брели дальше неверным шагом или падали на бетонный пол.

Раймондо внимательно и тревожно наблюдал за девушками, и когда те поднялись наверх, свободно вздохнул. Пронесло, сказал он себе, хотя правда еще и светло, не прицепился никто, пронесло, а могли бы... поди узнай, у кого что на уме.

Девушки разделились на две группы: одна направилась в сторону набережной, другая дальше, в город.

Несколько минут Раймондо размышлял, за кем следовать и пошел за второй группой. В пестрой шумной толпе стокгольмцев четыре девушки гуляли, как по своему городу, а в сердце Раймондо закрадывалась тревога. Куда они идут, черт их подери, стал уже злиться он, ведь дальше им ни к чему, просто нельзя. Там полно самой гнусной порнографии и хиппи. Как их предупредить? Они испугаются меня! Да и поверят ли мне? Надо подойти. Но что-то удерживало его на расстоянии.

Они ушли уже довольно далеко от центра, когда Раймондо заметил трёх рослых подростков, следовавших за девушками.

— Затолкаем в подворотню курочек... Аппетитные курочки-то... аппетитные...—разобрал он обрывки их фраз.

Раймондо ускорил шаг, поравнялся с девушками и проговорил по-русски:

— Уходите быстро, они к вам пристанут...

Девушки отпрянули от него.

— Уходите,—с мольбой повторил Раймондо.—Уходите, пока не поздно...

Подружки подошли к нему и один, ухмыляясь в лицо, сквозь зубы бросил:

— Чего пристал к курочкам? Тип...

Раймондо весь напрягся в ожидании, сжав кулаки.

— Девчатины захотел?—спросил зло подросток.—Сейчас я тебе покажу девчатины...

Он развернулся в плече, но Раймондо опередил его: короткий прямой удар заставил подростка охнуть и согнуться.

— Уходите,—еще раз крикнул Раймондо, уже зло, жестко нанес сильный удар другому подростку ниже паха. Тот взвизгнул и сел на землю.

Третий обрушил на Раймондо град ударов, но Раймондо выстоял; защищая кулаками лицо, он думал, как остановить этот град, и тут молниеносно мелькнула мысль, мелькнула в тот момент, когда где-то далеко, но отчетливо послышался вой сирены полицейской машины. Раймондо нырнул в ноги противнику, опрокинул его, но встать не успел. Он почувствовал удар по голове. В какой-то миг адская боль прошла его тело, и он потерял сознание.

10

Раймондо тяжело открыл глаза. Он лежал на кушетке в светлом чистом кабинете. Где я?—спросил он себя,—кто меня подобрал, неужели полиция? Он приподнялся и сел. Голова гудела и была тяжела, словно двухпудовая гиря.

Дверь открылась, вошел пожилой мужчина в белом халате, бросил беглый взгляд на Раймондо:

— Повезло тебе. Благодарю полицейских. Не подойди они вовремя, из твоей головы сделали бы желе. Ну как, встать можешь?

— Да, спасибо, надо идти.

— Куда идти?—Мужчина усмехнулся.—Чем сидеть в холодной кутузке, лучше лежи здесь.

— В кутузке?—Раймондо непонимающе посмотрел на него, неожиданно насторожился:—почему должен сидеть в кутузке?

— Наивный малый. Тебя взяли за драку.

Боже мой, подумал про себя Раймондо, меня избили и меня же взяли за драку...

— Я тебе симпатизирую: один пошел на троих...

Мужчина похлопал тяжелой рукой Раймондо по плечу: острая боль пронзила тело и исказила лицо Раймондо.—Ты смелый малый, так что лежи-ка лучше здесь... Впрочем, тебе недолго дадут отдохнуть...

Пошел на троих, вот как обернулось дело, забеспокоился Раймондо. Как бы еще не отправили в тюрьму. Разве в этом мире найдешь правду, и кто тут меня защитит. Боже, да кому я тут нужен...

И тут другая, более тревожная мысль захватила Раймондо. Внезапно он почувствовал, что ему чего-то не хватает, на нем чего-то нет. Он принялся ощущивать себя и похолодел. Сердце гулко забилося, затем сбилось с ритма. Раймондо обвел глазами комнату, заставленную белыми шкафами и хрипло спросил:

— Где ремень... мой ремень... Вы не видели моего ремня?

— Что? Нет... Тебя привезли без ремня. Нашел о чем печалиться. Говорили, что тебя лупили ремнем.

— Но мне нужен ремень, нужен, я не могу без него...—Раймондо при-

поднялся, и в эту минуту открылась дверь и вошел невысокого роста полицейский.

— А... пришел в себя! На-ка затяни штаны, чтобы не ходить с голым задом, ха-ха,—он бросил на кровать ремень, потом у кушетки гулко упал тувель.

— Как тебя звать?

— Раймондо. Раймондо Гарино,—машинально ответил Раймондо, мысленно спрашивая себя, на месте ли деньги.

— Где работаешь?

— Служителем в зоопарке.

— Откуда приехал?

— Из Испании.

— С какой целью преследовал туристов?

— Не понял.

— Туристок, спрашиваю, почему преследовал? Или русские девушки слаще испанок? Ха-ха...

— Преследовали те трое, что избили меня... Я просто шел следом.

— Жаль, что ты не успел их потискать. А вот если бы ты задел наших девочек, я бы тебе шею сломал. Ты меня понял?

И он растянул рот в улыбке. Полицейский подошел к двери, распахнул ее. Огненные вспышки, словно молнии, ударили в глаза, замелькали головы, десятки, сотни голов, они закружились, расплывались, слились в один ком и Раймондо потерял сознание.

Когда он открыл глаза, за окном смеркалось. Мужчина в белом халате сидел на высоком табурете и читал газету. Услышав скрип кушетки, он пробурчал:

— Пробудился, наконец. Сутки бредил. У меня на тебя нет ампул для уколов. Иди-ка лучше домой. Да, вот послушай, что пишут в газете, «Испанский кабальеро Раймондо Гарино, который вкусил прелести не одной красавицы Мадрида и Парижа, пытался поразвлечься с русскими туристками...» И твоя очаровательная физиономия. Хочешь посмотреть на себя? Держи...

Мужчина бросил газету на кушетку. Раймондо мельком взглянул на нее, увидел глаза, свои глаза, встал и медленно, как во сне, вышел на улицу. Все потеряно, сказал он про себя отрешенно. Родина, а теперь работа... Вряд ли теперь меня оставят на работе. И как обернулось-то дело: пытался помочь своим, а вышло, что покушался на их честь... Деньги, хотя бы деньги оставили на месте. Без них я ничто.

Закружилась голова. Раймондо съежившись, напрягшись всеми нервами, будто ожидая коварный удар из-за угла, засунул пальцы в прорезь... И сполз на землю обессиленный. Деньги были на месте.

Сколько просидел на земле, Раймондо не помнил. Наконец, он встал и поплелся по улице. Над ярко освещенными окнами магазинов полыхала реклама. Из ресторанов и кафе слышались звуки музыки. У кинотеатров

толпилась молодежь. Никто не обращал внимание на еле бредущего, с перевязанной головой человека. Он никому не был нужен.

Раймондо вышел на набережную, сел на колено лупоглазого чудища и долго глядел на ярко освещенный теплоход, на беззаботно отдыхавших и веселившихся людей. И вдруг опустил голову на ладони и длинно тонко заскулил, как бездомная, избитая собака.

11

— Рома, Рома, сыночек, вернись. Это я, твоя мама, слышишь, вернись, не смей...

Истощенный женский крик пронзил его. Он вскочил, сел на кровати, и тупо уставился в темень окна.

На улице визжали девицы. Потом раздался мужской хохоток и снова девичий сладострастный визг.

Гуляли клиенты Светлой Северной Церковной:

— Нет, я здесь больше не смогу прожить,—сказал себе Раймондо. Больше не смогу. Но где-то, как-то жить надо. Не лишать же себя жизни. Где-то жить надо. Где-то? Я должен быть хотя бы рядом со своей землей, слышать ее звуки, чувствовать запахи, стоять на ее ветру. Он будет приносить мне голоса моей земли. Иначе я не смогу жить. Я устал, я страшно устал ходить по чужим дорогам. Я весь износился. Износился? Но ради кого? Ради самого себя. Я уже близок к той черте, к которой стремился. И эта черта—моя единственная цель и последняя надежда. Она рядом. Совсем рядом. Да, я поеду в Финляндию. А там, рядом моя земля, без которой я не могу жить, без которой я задыхаюсь. Мне так нужен ее ветер...

Раймондо лег на правый бок, как когда-то в детстве, и тут же забылся глубоким сном.

ПОЕЗДКА

1

Директор совхоза «Победа» Юсупов готовился к поездке во Францию.

О том, что он включен в состав делегации виноградарей и виноделов, Юсупов знал уже несколько месяцев. Но молчал. Кто знает, может не попадет в список участников поездки, думал он про себя, втайне все-таки надеясь на поездку.

И вот сегодня, когда в контору были созваны бригадиры и специалисты хозяйства, чтобы обсудить, как быстрее убрать уродившийся виноград, когда разговор уже подходил к концу, в кабинет вошел почтальон. Он раскрыл сумку, порылся в ней и с загадочной улыбкой протянул телеграмму. Юсупов расписался в получении, но читать телеграмму не стал и отложил в сторону. Неудобно перед собравшимися, подумал он. Но тут же про себя усмехнулся: этот болтливый почтальон всему селу успел, наверное, рассказать.

Бригадиры только успели выйти из кабинета, как зазвонил телефон.

— Джамал,—раздался в трубке прерывистый голос жены,— ты едешь за границу?

— Какая сорока принесла тебе это известие?

— Соседи сказали. А они слышали от почтальона...

Юсупов положил трубку телефона, развернул телеграмму, прочитал вслух... «Тридцатого сентября будьте Махачкале Вылетаем Москву Второго октября Париж...» Значит, завтра надо ехать, сказал Юсупов, складывая телеграмму и засовывая ее в туго набитый нагрудный карман рубашки.

К концу дня дом Юсупова напоминал улей. До позднего вечера к нему шли и от него выходили односельчане, а ребяташки вместе с внуками Юсупова, облепив невысокий забор, уви-

тый виноградом, перебирали и обсуждали заморские страны. Где-то в полночь, когда село, наконец, утомилось и, казалось, все советы уже были даны, все тосты на добрую дорогу высказаны, в дом тихо вошла старая Марьям. Осторожно переступив порог, она присела на тахту, стоявшую у двери и на неоднократные просьбы жены Юсупова присесть за стол отрицательно качала головой.

— Твое имя на устах всего села, сынок,—сказала Марьям, подняв глаза на Юсупова.

— Знаменитостью стал, тетушка,—усмехнулся он.

— В заморские страны едешь, говорят.

— Еду вот...

— Счастливой тебе дороги, сынок...—Марьям замолчала.

Юсупов посмотрел на старую женщину, подумал: что-то ее волнует, беспокоит. В гости никакими просьбами и посулами не затащишь, а тут сама пришла.

Жена Юсупова поставила на стол свежезаваренный чай, варенье, лепешки.

— Садитесь ближе, тетя Марьям. Попробуйте нашего варенья. В этом году я наварила клубничного и черешневого без косточек. На днях буду варить из айвы и инжира. Пусть дети лакомятся всю зиму. Фруктов много, куда их девать, вся земля во дворе усеяна ими.

— Я сегодня из винограда варила внукам.

— Мои не любят, косточек много.

— Да, косточек много. У меня во дворе несколько кустов кишмиша растет, так я из кишмиша варю. Зайди завтра, я тебе на варенье соберу.

— Что вы, тетя, спасибо. У нас погреб полон варенья.

— Ничего, и из кишмиша сварить, маленьким лакомство.

— Садитесь за стол, тетя Марьям.

Марьям не сдвинулась с места.

— Говори, тетушка Марьям, я вижу, ты что-то хочешь сказать мне,—сказал Юсупов, глядя в морщинистое лицо женщины.

— Да, сынок, хочу сказать. Посмотри, сынок, там, куда ты едешь, нет его? Кто знает, может судьба забросила туда...

Юсупов встал, подошел к окну и, глядя в ночь, сказал:

— Ты же знаешь, тетушка, что он погиб.

— Чует мое сердце—живой он,—тихо сказала Марьям.— Никак не могу привыкнуть к мысли, что нет его на земле.

— Погиб он,—повторил Юсупов.

— Столько лет прошло, а кажется мне, что он где-то живет.

Глядя в окно, Юсупов вспомнил тот морозный день сорок третьего года... Белая скованная снегом степь. Замерзшая,

обледенелая отступающая немецкая часть. И колонна военнопленных в хвосте... Потом над головой пролетел «Ястребок», за ним пошли штурмовики, а спустя некоторое время вокруг стали рваться снаряды и снег вспыхивал огнем, взметаясь к небу. Потом, что было потом?.. Немцы стали отсеивать военнопленных: кто с ними—десять шагов вперед... Он прирос сапогами к снегу. К левому плечу прислонился водитель его танка Али, обгорелый, прокопченный. И снова лающий крик немецкого офицера: кто с нами—десять шагов вперед, кто не с нами—растрелять... И тут... Левое плечо освободилось от тяжести. Мимо него, тяжело ступая по снегу, пошел прокопченный человек. Юсупов сначала не понял, что произошло. Повернул голову—слева рядом никого не было. Глубокие лунки следов в снегу вели вперед. Он исподлобья глянул в сторону немцев, потом уперся взглядом в спину Али и тихо, но отчетливо сказал:

— Тебя проклянут земля твоя и мать.

Али остановился, повернул голову и проговорил:

— Я устал, я не могу больше, я боюсь умереть.

И Юсупов снова повторил:

— Тебя проклянут земля и твоя мать.

В этот миг сбоку взметнулся сноп огня. И Юсупов рухнул. Когда пришел в себя, была уже ночь. Грудь горела огнем.

— Кто здесь живой,—спросил он, потом крикнул:

— Кто-нибудь есть живой, Али, ты здесь? Али, где ты, отзовись, Али?!

Вокруг было тихо. На снегу темнели трупы солдат...

Юсупов оторвал взгляд от окна, прошелся по комнате, сел за стол, налил себе чаю.

— Садись, тетушка Марьям, остывает.

— Спасибо, сынок... Пусть будет твоя дорога легка и безоблачна, сынок.

— Спасибо, тетушка. Садись поближе...

2

Юсупов глубоко опустил в кресло, пристегнул привязной ремень и улыбнулся соседу слева:

— Люблю во всем порядок, Мераби Луавсарбович.

— Э, бичо, а кто его любит,—ответил Мераби Луавсарбович и тоже защелкнул пряжку ремня. Это был массивный смуглый мужчина, на лице его выделялись круглые большие глаза и пышные черные усы, которые он поминутно любовно поглаживал ладонью.—Друзья, вы почему замолчали?—воскликнул он удивленно.

— Дай им освоиться с самолетом,—улыбнулся Юсупов.

— В первый раз в самолет садятся, что ли? С кем я еду, вай, деда...—и он громко и артистично заохал.

Самолет покатил по бетонной полосе, оторвался от земли и, вдавив пассажиров в кресла, устремился вверх. За окном проплыли Шереметьевский аэропорт, квадраты новых жилых массивов Москвы и уже через несколько минут под крылом ИЛ-62М снежной белизной заблестали облака.

Группа, с которой ехал Юсупов, состояла из двадцати человек, представлявших республики, славящиеся своим виноградом и вином. В Москве они познакомились друг с другом, переговорили о делах, а теперь отдыхали, точнее—готовились к «открытию» Франции.

После обеда, который состоял из бульона, цыпленка с жаренным картофелем, бутерброда с колбасой, сливочного масла, бокала столового вина и минеральной воды, пассажиры как-то притихли, словно они весь день ждали этого обеда. И под мерный тихий храп Мераби Луавсарбовича Юсупов задремал. Он открыл глаза внезапно.

— Наш самолет пролетает над Копенгагеном. Высота девять тысяч метров,—донесся до его слуха женский голос.

Соседи просыпались. Значит, не я один спал, сказал про себя Юсупов, а впрочем, не мудрено и уснуть, чем-то надо же заняться три с половиной часа. Он осторожно развернул газету, на глаза попала заметка об угоне самолета, но она не вызывала в нем никакой реакции. Он откинул голову на спинку, сомкнул глаза.

— Бичо, возвращайся из сказки, мы в Париже, бичо..

Мераби Луавсарбович осторожно тормозил его.

За иллюминатором громоздились клубы облаков. Самолет нырнул в сплошной туман.

— Лучше бы не возвращаться из сказки,—улыбнулся, шутя, Юсупов.

— Вай бичо, уже не хочешь в Париж?

Самолет подкинуло, бросило вниз, сквозь разрывы тумана стали вырисовываться дома и улицы. Спустя некоторое время он уже бежал по бетонной полосе аэропорта Пари Орли Сюд.

В аэропорту они быстро закончили формальности—заполнили въездные карточки, получили свои чемоданы, визы и направились к выходу. Здесь их, широко улыбаясь, ожидал сухощавый пожилой мужчина, который представился одним из деятелей профсоюза виноделов, назвался Морисом Дюнуа и повел к автобусу. На улице с десятков людей, обступив, принялись щелкать фотоаппаратами.

— Репортеры,—сказал, продолжая улыбаться, Морис Дюнуа,—никуда не скроешься от них.

Наконец автобус выехал из аэропорта.

Погода была пасмурной, в воздухе плясали мельчайшие дождевики, и большие, старинной архитектуры, каменные дома, завершавшиеся мансардами, источали холод и давили своей массой. Автобус колесил по улицам, Морис Дюнуа выкрикивал знакомые с детства названия, за окнами вытягивались и исчезали тяжелые тела исполинского Лувра и бывшего дворца Мазарини, Собора Парижской Богоматери, ошетилившегося химерами, и легкого, невесомого Сен-Жермена де Пре, гостеприимно распахивались Елисейские поля и Большие Бульвары, бульвар Османа и улица Риволи, открывались чаши площади Шарля де Голля и Согласия, Бастилии и Дягилева, а на душе Юсупова было сумрачно.

Парижане показывали гостям свой город. На фасаде кинотеатра на Елисейских полях реклама изображала красивую обнаженную женщину, величественно сидевшую в кресле, закинув ногу на ногу. Здесь шел сексфильм «Эммануэль». На Больших Бульварах у кинотеатра, где демонстрировался фильм об отце рок-н-ролла Элвисе Прейсли, толпилась молодежь. К Эйфелевой башне шли массы людей, словно на поклонение в Мекку. Сырая, пасмурная погода не омрачала настроения людей.

А Юсупова снедала грусть. Нет, не таким думал он увидеть Париж, не таким тяжелым, холодным...

Автобус остановился у отеля «Амбассадор».

3

Юсупов и Мераби Луавсарбович устроились в двухместном номере отеля на третьем этаже. Небольшая прихожая и просторная комната с ее обстановкой привели в восторг эмоционального грузина. Он ходил по комнате, пробовал на прочность широкую двухспальную кровать, шарил ногой по ворсистому ковру и не переставал восклицать:

— Посмотри, как все красиво и богато. Умеют жить и принимать гостей. Недаром они французы.

Потом он решил потрогать обои; приложил ладонь к стене, удивленно воззрился на Юсупова: обои были мягкие.

— Вай деда,—проговорил Мераби Луавсарбович, в эту секунду он был похож на огромного несмышленного ребенка.

Глядя на него, Юсупов весело рассмеялся.

— Очевидно, наклеили на поролон.

— Бичо, если это так, то они молодцы, честное слово молодцы.

Юсупов не стал слушать разглагольствований Мераби Луавсарбовича и пошел принимать ванну.

После отдыха члены делегации собрались в ресторане отеля. Здесь их ждали хозяева, представители ассоциации французских виноделов. Морис Дюнуа представил их советским гостям и началась застольная беседа. На одном конце стола переводил советский переводчик, на другом—Морис Дюнуа.

— Не удивляйтесь, что знаю русский,—говорил он, наполняя бокалы шампанским,—я посещал курсы русского языка и часто бываю в Советском Союзе. Ездил в Москву, Ленинград, Самарканд, Бухару, Кишинев, Тбилиси, Крым...

— Вы были в Тбилиси?—Мераби Луавсарбович развел руками.—Это красавец город.

— Красивый,—улыбнулся Морис Дюнуа.

— Если говоришь от чистого сердца, ты настоящий друг!—воскликнул Мераби Луавсарбович.—Ты проходил по старинным майданам, входил в духанчики, да, говоришь, ты настоящий мужчина. Ты смотрел на наш город с Мтацминда, смотрел, говоришь?..

Юсупов смеялся так весело и озорно, что его смех передался и Морису Дюнуа и всем сидящим за столом, и этот смех без слов и речей сблизил людей.

— Кавказ—красивый край,—восклидал Морис Дюнуа уже после второго бокала.—Кавказ—край мужественных людей...

— Конечно, бичо, мужчины рождаются у нас.—Мераби Луавсарбович взглянул на Юсупова и продолжал.—Кавказ—это не только Грузия. Это и Дагестан. Вот мой друг и брат из Дагестана, чем не орел! Какой взгляд, а плечи, грудь... Дагестан рождает настоящих мужчин.

— О, Дагестан,—протянул многозначительно Морис Дюнуа, задумался, и вдруг взорвался:—Дагестан, наш Александр Дюма был в Дагестане, не так ли? И еще, я слышал, леки похитили вашего Гурами... Как его звали...

— Да, бичо, Гурамишвили, посадили в яму и помогли ему стать великим поэтом Грузии.

— В яму?—изумился Морис Дюнуа.

— А как же, бичо, если бы он не сидел в яме, а потом не бежал в Россию, разве он сумел бы так горячо и возвышенно воспевать родной Сакартвело, родную Грузию. Два народа воспитали нам великого поэта... Друзья мои,—эмоциональный Мераби Луавсарбович встал из-за стола и поднял в руке бокал

с шампанским.—У нас в Грузии не принято пить без тоста. Не думайте, что тосты—это обычная болтовня выпивших людей. Нет, нет и нет. Тосты—это гимны здоровью и благополучию людей, тосты—это песни, поэмы о них. Тосты сближают, роднят людей. Мой дед говорил мне: бичо, никогда не пей без тоста, иначе станешь пьяницей. Пока мы, грузины, произносим тост, алкоголь выветривается. Теперь от нас научились произносить тосты и дагестанцы. Мой дед говорил мне: бичо, всегда поднимай тост за братство, потому что пока на земле будет братство, будет и вино. Делать вино наша и ваша работа, такое вино, чтобы в нем искрилось солнце, которое светит всем народам. Крепить братство—тоже наша и ваше дело, такое братство, чтобы было радостно жить под одним солнцем. Я поднимаю этот бокал за то, чтобы на нашей уютной земле восторжествовало братство и текли винные реки...

Гул одобрения, звон бокалов, восторженные крики темпераментных французов, женское ликование—все это веселым комом покатилося над столом и растеклось по ресторану.

Мераби Луавсарбович перекинул невидимый мост между гостями и хозяевами и за столом завязалась непринужденная дружеская беседа.

— Минутку внимания.—Морис Дюнуа встал и развел руки, словно желая заглушить шум.—Минутку внимания. Завтра начинается наша поездка. Одна группа следует в Шампань, другая в Кагор. Нам надо будет разделиться на две группы. Я понятно говорю?

— Понятно, бичо—ответил за всех Мераби Луавсарбович и обратился к Юсупову.—Куда едем? В Шампань?

— В Кагор, Мераби.

— Почему не в Шампань?

— Мы же не производим шампанское, Мераби. А потом—Кагор на самом юге Франции.

— Что с того, что на юге?

— Там тепло.

Мераби Луавсарбович глянул в лицо Юсупову и залился веселым смехом.

После обильного и долгого ужина Юсупов и Мераби Луавсарбович вышли на улицу. Опускались сумерки. Тротуары были запружены парижанами.

— Вот что значит увидеть своими глазами,—произнес Мераби Луавсарбович.—Я думал, парижане одеваются роскошно, а смотрю на них и удивляюсь: просто, очень просто одеваются. Со вкусом, но просто, недорого.

— Добрый вечер, господа!

Мераби Луавсарбович и Юсупов одновременно и удивленно обернулись. Рядом стоял высокий пожилой мужчина. Длинное лицо его обрамляли узкие бакенбарды и стриженная борода. Из-под густых бровей смотрели карие глаза.

Юсупов насторожился: он знал, что в Париже могут быть встречи со всякого рода отщепенцами.

— Чем могу быть полезен,—спросил сухо Юсупов.

— Репортер Ален Кашен,—располагающе улыбнулся мужчина.—Очевидно, вы не заметили меня сегодня в толпе репортеров. Командирован сопровождать вас по Франции.

Он довольно чисто и грамотно говорит по-русски, но в произношении чувствуется легкий акцент. Так часто говорят дагестанцы,—подумал про себя Юсупов.

— Наш каждый шаг, каждое слово, каждый жест будет записывать репортер?—удивился Мераби Луавсарбович.

— Для беспокойства нет никаких оснований,—сказал Ален Кашен.—Я не агент. Я буду сообщать о вашем пребывании во Франции.

Он умолк, потом тихо произнес:

— Как вы располагаете своим свободным временем?

— Это для газеты?—спросил Мераби Луавсарбович.

Ален Кашен засмеялся.

— Нет. Очень советую вам выйти на Елисейские поля. Поднимитесь до площади, повернете налево и, не сворачивая, прямо до площади Шарля де Голля. Там стоит Триумфальная арка. Налево от арки—Елисейские поля. Кинотеатры, кафе. Советую посмотреть «Эммануэль». Правда, вам может и не понравиться, но... в нем не так уж много и порнографии... Жизнь женщины. Если не возражаете, я могу вас подвезти...

— Спасибо, сами найдем,—опередил Юсупова Мераби Луавсарбович и повернулся к репортеру спиной, давая знать, что разговор исчерпан.

Репортер прошел к «Ситроену», который стоял в десяти метрах от отеля, и вскоре автомобиль бесшумно тронулся с места.

Широкие, просторные Елисейские поля, залитые ярким разноцветным светом неоновых реклам, были заполнены гуляющими. По шоссе медленно, словно нехотя, тянулся поток автомашин. Юсупов и Мераби Луавсарбович ступали метр за метром, словно в огромной очереди; плотный, вязкий поток людей не позволял идти быстро. Наконец, они поравнялись с кинотеатром, подошли к кассе.

— Бичо, Джамал, ты каким иностранным языком владе-

ешь?—спросил Мераби Луавсарбович, заглядывая из-за плеча Юсупова на молодую кассиршу.

— Английским, но кажется мне, что сами англичане придут в ужас от моего произношения.

— Англичане, но не французы. Ты, Джамал, будешь моим переводчиком.

— Зачем тебе переводчик?—усмехнулся Юсупов.—Вот здесь указана стоимость билета. Двадцать франков.

— Это сколько же на наши деньги... Три рубля?

— Точно.

— Три рубля один билет? Что же это за кино такое, три рубля один билет...

— Ну как, не пойдем?

— Что же делать, бичо, пришли—нужно посмотреть,—тяжело вздохнул Мераби Луавсарбович.

У входа в зрительный зал контролер забрала у них билеты и протянула руку:

— Мсье, франк...

Юсупов опустил ей в ладонь монету. Она не открывала дверь и продолжала выжидающе глядеть на Мераби Луавсарбовича. Тот обратил непонимающий взгляд Юсупова, протянул:

— Что ей еще надо?

— Наверное, и с тебя франк. Здесь принято давать чаевые, я слышал...

Юсупов протянул контролеру еще монету. Та натянуто улыбнулась, проговорила «мерси, мсье», провела их в зал, освещая дорогу узким лучом фонарика и усадила на свободное место.

— За что франк? За это франк?—вздохнул Мераби Луавсарбович, тяжело втискиваясь в полумягкое кресло.

Вышли они из кинотеатра в первом часу ночи. Людей ничуть не убавилось. Они двигались так же плотно и медленно, как несколько часов назад, словно сбились с ритма времени.

4

Утром группы вылетели из Парижа: одна на северо-восток, другая на юг Франции.

В аэропорту Пари Орли Уэст, откуда предстояло вылететь в Тулузу, в сутолоке посадки Юсупов и Мераби Луавсарбович потеряли друг друга и Юсупов, поднявшись в самолет, сел в первое же свободное кресло. Он глянул на соседа и приятно

поразила: это был репортер, назвавшийся вчера Аленом Кашеном.

— Как видите, лечу с вами,—сказал тот, снимая пиджак и удобно располагаясь в кресле.

Самолет французской авиакомпания «Меркурий» набрал высоту и пассажиры, отстегнув привязные ремни, занялись каждый своим делом. Одни смотрели в иллюминатор, другие пытались вздремнуть, третьи развернули свои кейс-атташе и принялись перелистывать деловые бумаги.

Стройная миловидная стюардесса прошла по салону, раздавая желаемым газеты «Орор», «Фигаро», «Монд»... Затем молодой стюард принес стопку альбомов в твердом переплете.

Ален Кашен протянул руку, получил альбом и принялся внимательно разглядывать.

Юсупов закрыл глаза. Из дремотного состояния его вывели какие-то неразборчивые звуки. С трудом раскрыв глаза, он прислушался, глянул на Алена Кашена. Тот смачно щелкал языком и покачивал головой. Страницы альбома были заполнены порнографией.

— О-ля-ля;—воскликнул Ален Кашен, глянув на Юсупова. —Как вы относитесь к этой продукции? Конечно, отрицательно. Несомненно. А по мне, это красиво, эстетично. Гимн красоте человеческого тела.

Юсупов искоса глянул на соседа, остановил взгляд на разлете бровей и носе. Кого они мне напоминают,—спросил себя Юсупов и не смог найти ответа.

Не кажется ли вам, что пропаганда секса опустошает душу человека, уводит от серьезных проблем?—спросил он соседа.

— Не кажется,—глаза соседа выражали ум и лукавство.—Куда опаснее пропаганда насилия. Одно время нас захлестнули гангстерские фильмы и фильмы ужасов. Они приносят больше вреда, психологически сильнее воздействуют на молодежь. А в пропаганде секса есть свои положительные стороны. —Ален Кашен замолчал, изучая очередное «произведение» в альбоме, потом продолжил.—Это выражение свободы. При всем при этом снижается сексуальная преступность.

Юсупов вспомнил фильм «Эммануэль», увиденный вчера на Елисейских полях. В полном удовлетворении эротических потребностей мужчины учили Эммануэль видеть свое предназначение как женщины. И ставили перед ней одну, но главную цель: как можно лучше, изощреннее подать себя. Юсупов собирался сказать свое мнение по этому поводу, но в это время

самолет пошел на снижение, под фюзеляжем глухо стукнуло машина выпустила шасси.

Мераби Луавсарбович уже стоял на твердой земле, когда Юсупов спускался по трапу.

— Бичо, где ты пропал, я подумал, не остался ли ты в Париже, а этот наш вчерашний репортер откуда взялся?

— Едет с нами, Мераби, будет о нас рассказывать всей Франции, вот какие мы с тобой важные персоны.

— Смеетесь, господа?

Юсупову показалось, что на лице Алена появилась улыбка.

— Да нет, шутим...—пожалел он репортера. И вдруг замер, застыл на слове. Уголки губ Алена Кашина были опущены, так знакомо опущены. Так опускались они у его бывшего друга детства, когда у того на душе бывало скверно и тоскливо, или он чувствовал себя в чем-то виноватым.

Громкий голос вернул Юсупова к действительности: Морис Дюнуа просил не отставать, их ждал автобус.

Машина мчалась по окрестностям Тулузы, а Юсупов спрашивал себя: почему я вспомнил его, прошло более тридцати лет, как он погиб, ушел навсегда, почему я сегодня вспомнил его. Его образ, его лицо совершенно стерлось в моей памяти... Но... помню, как опускались уголки губ, опускались точно как у этого репортера. Он был такого же роста, веселый, балагур... И надо же мне вспомнить его сегодня, здесь, на земле Франции.

— Наши тулузские друзья дают обед в вашу честь и приглашают вас в ресторан,—прервал его мысли голос Мориса Дюнуа.

В ответ раздались аплодисменты.

Автобус остановился у ресторана «Гамбринус». Он принадлежал сухопарому пожилому вьетнамцу. На стенах небольшого, но уютного зала висели пейзажи Вьетнама. Обслуживали вьетнамские юноши.

Тулузцы смешались с гостями и вели беседу: одни с помощью словарей, которые извлекли из карманов, другие подкрепляли свою речь жестами и взглядами. Вторая форма общения особенно забавляла Юсупова; наблюдая за соседями, он изо всех сил пытался подавить клокочущий в груди смех, но когда Мераби Луавсарбович присоединился к ним, широко жестикулируя и показывая, как на Кавказе знают о Франции и уважают ее свободолюбивый народ, он расхохотался. Пожилой вьетнамец стоял за стойкой, с улыбкой глядя на гомонящих людей, и вовремя подсказывал подносить блюда и бутылки с вином.

Шум стих, когда из-за стола поднялся Морис Дюнуа и высокий француз, голубоглазый и с пышной шевелюрой.

— Прошу внимания.—Морис Дюнуа поднял руку.—Прошу внимания. Слово к советским товарищам имеет Анри Шантинье.

Анри Шантинье говорил по-французски, Морис Дюнуа переводил:

— Отец мой был участником движения сопротивления. В 1941 году, когда Францию оккупировали боши, он добыл журнал, изданный в подполье и вселявший надежду в сердца истинных французов. Уже после войны отец завещал мне подарить его советским друзьям. Сегодня я выполняю завет отца и передаю вам. Он называется «Битва под Москвой» и выпущен в октябре 1941 года.

Анри Шантинье протянул журнал руководителю делегации.

Юсупова растрогала сердечность сказанных Шантинье слов, и он вместе со всеми громко аплодировал голубоглазому французу и поднял бокал за дружбу и братство людей.

Поздно вечером уходили они из ресторана «Гамбринус», и пожилой вьетнамец, выйдя на улицу, каждому пожимал руку худыми, тонкими руками, а молодые низко кланялись, повторяя: «Спасибо, что пришли к нам».

Потом они долго бродили по улицам города и знакомились с вечерней Тулузой. Ресторанчики и кафе были заполнены молодежью. У кинотеатра, в котором шел фильм «Тринадцать жен Казановы», стояла длинная очередь. Большие окна пестрели порнографическими фотографиями. У подъездов домов в шортиках и майках с большим вырезом, подбоченясь, стояли девицы, позвякивая ключами.

Уже в отеле «Виктория», ложась в постель, Юсупов вдруг вспомнил, что не видел в «Гамбринусе» Алена Кашена. Отсутствие репортера удивило его и слегка озадачило.

— Мераби, ты не видел Алена Кашена?

Мераби Луавсарбович плескался в душевой.

— Нет, бичо, а что тебя волнует?

— Ничего. Просто так... спросил.

— Наверное, забыли пригласить.

— Забыли пригласить...—повторил Юсупов, закрыл глаза. И уснул.

5

Выезд в Кагор был назначен на одиннадцать часов, и после легкого завтрака, который состоял из ломтика поджаренного хлеба, булочки, кусочка сливочного масла, джема в коробочке и кофе, члены делегации вышли погулять по Тулузе. Было

воскресенье, столы, палатки, расставленные на улицах, были завалены продуктами и промышленными товарами. У металлической ограды храма святого Сергия в окружении огромной толпы играли уличные музыканты и микрофон далеко разносил бешеный ритм мелодий.

— Джамал, как бы нам не потерять друг друга в этой сумасшедшей толпе,—сказал Мераби Луавсарбович, беря крепко за локоть Юсупова.

— Кому ты здесь нужен,—весело улыбнулся Юсупов, эта беззаботность и ликование толпы передавались и ему.

— А вот ты и не прав. Нужен. И нужен Алену Кашену. Вот он идет к нам.

К ним пробирался Ален Кашен. Он уже издали улыбался Юсупову.

— Послушай, почему тебя вчера не было с нами в «Гамбринусе»,—спросил Мераби Луавсарбович.

— В «Гамбринусе»? Ах да, был занят делами...

— Какие у тебя могут быть другие дела, если ты едешь писать о нас. Какой после этого ты репортер? Липовый ты репортер. У нас так говорят.

Юсупов заметил, как в глазах Алена Кашена промелькнуло напряжение, потом тот как-то через силу улыбнулся:

— Нет, серьезно, был занят делами, репортерскими.

— А что, у тебя еще и другие дела есть, может, ты еще какую-то группу сопровождаешь?—не унимался Мераби Луавсарбович. И, обратившись к Юсупову, с сожалением произнес:

— Нет, Джамал, ничего о нас в газетах писать не будут. Так думаю.

Выйдя на узкую улочку, они пошли вдоль небольших магазинов, осматривая богатые витрины. У одной из них Мераби Луавсарбович остановился и зацокал языком.

— Точно как на Кавказе. Только у нас лучше, у нас насаживают молодую овечку...

На вертеле медленно вращался большой, хорошо поджаренный гусь.

Вдруг до слуха Юсупова неясно донеслась грузинская речь. Он прислушался: не ошибся ли? Да, речь была грузинская. Юсупов поймал удивленно-заинтересованный взгляд Мераби Луавсарбовича и огляделся. Невдалеке от них, за лотком, заваленным товаром, молодой черноволосый мужчина разговаривал с мальчиком. Мераби Луавсарбович пожал плечами и проговорив—неужели грузин,—пошел к ним.

Когда Юсупов и Ален Кашен подошли к лоткам, Мераби

Луавсарбович уже беседовал с женщиной, но тон у Мераби был сухой, даже суровый. Зато вид молодого человека был растерянный, жалкий и в глазах стояла грусть.

— Вот, пожалуйста, человек, продавший родину,—жестоко сказал Мераби Луавсарбович, обратившись к Юсупову.—Ради чего продал? Скажи, ради чего?

— Не продавал я,—сказал по-русски молодой грузин,—клянусь сыном Жоржем, не продавал. Жорж, иди сюда.

Он поднял мальчика и посадил на товары.

— Ты посмотри на него!—Измученно протянул Мераби Луавсарбович.—Не продавал. Ты даже сына как зовешь? Жорж. А он кто? Георги, Георги, и еще раз запомни Георги. Вай бичо,—он вознес руки к небу,—ты такое красивое имя Георги превратил во что, а? Эх ты...

— Не продавал...—Молодой мужчина запнулся.—Это отец сорвался с родного места, брат его вызвал сюда. А дедовские законы какие... строгие законы. Я не мог послушаться отца. И поехал с ним. Всей семьей приехали. Будь проклят тот день...

Голос его захлебнулся.

— Почему ты день клянешь? День чем виноват? Свою дурную голову кляни.

— Все эти товары, этот магазин сейчас отдал бы, только бы разрешили мне вернуться домой...—произнес молодой мужчина.

Мераби Луавсарбович взял на руки мальчика, тому было года три-четыре, прижал к груди и стал напевать ему тихо и протяжно по-грузински. Это была нежная и тоскливая песня, которая тревожила душу, и из глаз молодого мужчины потекли слезы.

Юсупову стало больно смотреть на него. Он поднял голову: над узкой стеклянной дверью магазина висела броская реклама, на которой четкими, крупными буквами было написано «Вахтанг». Молодой мужчина перехватил взгляд Юсупова и тихо проговорил:

— Отец. Его имя.

— Мне не тебя жалко,—сказал Мераби Луавсарбович, нежно поцеловав мальчика в лоб и усадив на лавку,—ты большой дурак, вот этого дитя жалко. Какое у него будущее? И есть ли оно, а, скажи мне. Молчишь? Без родного языка, без своего народа может ли быть будущее? Дитя мне жалко. Георги жалко... Пойдем, Джамал, пора нам идти.

— Подождите, братья, возьмите от меня что-нибудь на память, какой-нибудь сувенир, я прошу вас,—горячо заговорил молодой мужчина.

— Ничего нам не надо,—оборвал его Мераби Луавсарбович.

— Ради всего святого. Умоляю вас, не обижайте меня. Ну хоть вот эти зажигалки. Сделайте для меня что-нибудь доброе, возьмите пожалуйста...

— Возьмем, Мераби,—не выдержал Юсупов, ему было больно смотреть на молодого мужчину.—Пожалей его, возьмем...

— Ладно. Возьмем.—Мераби Луавсарбович полез в карман и вытащил набор открыток «Грузия».—А это возьми от нас. Не себе, ему сохрани, Георги, пусть хоть по картинкам представит Сакартвело. Нашу мать Сакартвело.

— Спасибо, братья,—голос молодого мужчины сорвался, он справился с собой и повторил,—спасибо, братья, за вашу доброту. Передайте мой самый низкий поклон земле Сакартвело.

— Прощай,—коротко сказал Мераби Луавсарбович, нагнулся, поцеловал мальчика и пошел прочь.

В конце квартала он внезапно остановился, взглянул на Юсупова и, вскинув удивленно брови, спросил:

— Слушай, бичо, а куда девался наш репортер?

Они огляделись, но Алена Кашена нигде не было видно.

6

В винодельческом кооперативе под Кагором они пробыли до обеда. Их подробно знакомили с производством фирменного вина «Кагор», водили по подвалам дегустировать напитки, а затем за долгим обеденным столом интересовались бытом и трудом сельскохозяйственных рабочих в Советском Союзе.

Не удержался, рассказал и Юсупов французским коллегам о своем хозяйстве, о том, что на смену ручному труду пришла механизация. Машины опрыскивают виноградники, машины убирают увесистые, полновесные гроздья, машины давят вино.

— И у вас нет безработных?—в один голос спросили сразу несколько членов правления кооператива.

— Наоборот, не хватает рабочих рук.

— То есть как?

— Каждый год закладываем под виноградники новые земли. Вот в этом только году заложили на двух тысячах гектарах.

— У вас так много земли?

— Завоевываем. Корчуем леса.

— Можете ему верить, как мне,—сказал Мераби Луавсар-

брови, держа в руках бокал с вином.—А я никогда не вру.

Кто-то из французов засмеялся. Мераби Луавсарбович глянул в сторону, откуда послышался смех, и повторил:

— Я никогда не вру. Посмотрите на меня, на мое лицо, в глаза, и вы убедитесь, что я не вру. Мы никогда не врем. Я был в республике, где живет Юсупов. Называется она Дагестан. Это значит—страна гор. Да, это край гор, но это край мужественных, трудолюбивых людей, которые на солончаках разбили плантации виноградников и собирают ягоды сладкие, как мёд, и полновесные. И у нас нет секрета друг от друга. И в выращивании винограда и в производстве вина. Я это говорю и для репортажа, да, да, вот наш уважаемый мсье Ален Кашен что-то записывает, так знайте, что у нас нет производственных секретов друг от друга, мы едем перенимать их опыт работы, они берут наши, грузинские, виноградоуборочные комбайны. И за столом соревнуемся друг с другом: у нас хинкали и у них хинкал, у нас шашлык и у них шашлык, у нас вкусные лепешки пекут в тандыре и у них, у нас вино пьют бурдюками и у них...

Последние слова вызвали аплодисменты и смех.

— А как велик ваш Дагестан?—спросил Ален Кашен, аккуратно разрезая большой кусок телятины и глядя в тарелку.

— Для меня он велик.

— Вы сами родом из какого селения?—перебил его Ален Кашен.

— Я?—Юсупов улыбнулся.—Что вам даст название аула? Из Зубутли.

— Зубутли...—повторил Ален Кашен.—Зубутли...

— Вы правильно произносите это название. Оно вам встречалось?—спросил Юсупов.

— Пардон, где оно может мне встретиться,—ответил Ален Кашен, не поднимая глаз от тарелки и медленно, неаппетитно жуя.—Звучание слогов красивое.

— Красивое...—задумчиво проговорил Юсупов,—но аула Зубутли уже нет...

— Как нет...?—Ален Кашен поднял глаза.

Юсупов взглянул на него, и взгляд его снова замер на бровях и резко очерченном носе; чего он испугался, подумал Юсупов, как будто ему есть какое-то дело до зубутлинцев и их судьбы.

— Землетрясение разрушило аул,—сказал Юсупов.

— Разрушило... аул? И все погибли?

— Никто не погиб.

— Как же так... аул разрушен и никто не погиб? Ни дети, ни женщины?

— Вот так, никто не погиб. Ни один человек.
— И вы восстановили развалины?
— Зачем их восстанавливать? Переселились на плоскость, государство построило новые дома, выделило землю и вырос новый Зубутли. Намного краше того, что был затерян в горах.
— Значит, переехали все, говорите?
— Ну, конечно. До последнего старика. А что это вас так волнует?
— Интересно,—поправил его Ален Кашен.—Интересует, как человека другого мира.
— Очень уж обстоятельства вас интересуют.
— Как репортера,—грустно улыбнулся Ален Кашен и Юсупов снова обратил внимание, как опустились уголки его губ.
— Но писать об этом не стоит. Факт устарел.
— Как так?—не понял Ален Кашен?
— Восемь лет прошло, как появился новый Зубутли.
— И зубутлинцы довольны новым местом?
— Не то слово. Счастливы.
— Все?
— Безусловно.
— Послушайте, мне скучно от этих разговоров, дайте мне сказать тост,—поднялся Мераби Луавсарбович.

7

В Кагор въехали после полудня. Город, построенный в тринадцатом-четырнадцатом веках и сохранивший свои узкие, тесные улочки, каменные дома и мосты, встретил их щедрым солнцем. Здесь, в провинции, жизнь текла мерно и однообразно. Не было толп людей, уличного шума. В небольших скверах молодежь, да и пожилые мужчины, играли в буль.

Ужин, проходивший в ресторане «Шартрез», на противоположном берегу Варонны, был обильным и долгим, но Юсупову запомнился луковый суп, знаменитый луковый суп, которым гордилась и славилась Франция. Он очень напоминал Юсупову азербайджанское питание, только был без гороха и мяса.

Поздно вечером автобус въехал на авеню Жана Жореса и остановился у «Отель де Франс». Гости и хозяева высыпали на улицу, продолжая свои незаконченные беседы, когда кто-то из кагорцев предложил съездить на сельский праздник. Предложение вначале было выслушано без внимания, затем к нему проявили интерес.

— Приехать во Францию и не видеть сельского праздника.

Мы себе этого не простим,—проговорил Юсупов.—Недалеко?—спросил он своего недавнего соседа по столу Габриэля, мужчину с волевым лицом и острыми глазами.

Тот, очевидно, по-смыслу понял гостя.

— Нон, нон,—и стал что-то быстро объяснять Алену Кашену.

— Полчаса езды,—перевел Ален Кашен.—Этот праздник проводится раз в год, когда кончаются сельскохозяйственные работы.

Наконец решение было принято.

Габриэль пригласил в свою «Симку» Мераби Луавсарбовича, Юсупова и Алена Кашена, машина заюлила по улочкам впереди автобуса и выскочила на тёмную дорогу.

— Послушай, друг, не гони так свою арбу, не то загрохочет вниз,—попросил Мераби Луавсарбович после недолгого молчания и обратился к Алену Кашену.—Переведи ему мою просьбу.

Выслушав репортера, Габриэль заливисто расхохотался.

— Не бойтесь, я ас, ас, понимаете?—Он повернулся к Мераби Луавсарбовичу и тому пришлось громко воскликнуть:

— Вай, бичо, смотри лучше вперед, езжай хоть, как дьявол, только смотри вперед.

Ален Кашен переводил, безучастный к осторожности Мераби Луавсарбовича и задору Габриэля.

— Ты, друг, не привык к горам. Откуда сам?—Габриэль улыбался.

— С Кавказа. Из Грузии,—подчеркнуто сказал Мераби Луавсарбович.

— О, Кавказ,—громко, восхищенно воскликнул Габриэль, словно Кавказ был колыбелью его детства.

— А мой друг из Дагестана,—добавил Мераби Луавсарбович.

— О, Дагестан!—опять воскликнул Габриэль, обернулся, взглянул пристально на Юсупова и сказал.—Нет, испанец.

— Э, бичо, дагестанец он,—недовольно буркнул Мераби Луавсарбович.

— Нет, испанец, он очень похож на испанца.

— Вай, бичо, пусть будет испанец, только смотри на дорогу.

За разговорами не заметил, как прошло уже сорок минут, впереди было темно, и с боков теснила непроглядная ночь. Не завезет ли он нас куда-нибудь,—шевелинулась в мозгу у Юсупова пугливая мысль и тут же исчезла.—Не должен. А вообще, кто его знает, что он за человек. Вот и этот репортер кажется

положительным, а я ему не верю... Сердце не верит, не расположено к нему.

Словно угадав его мысли, Ален Кашен, не оборачиваясь, сказал:

— Не волнуйтесь, никуда не завезет.—И замолчал.

Наконец, тёмную завесу ночи прорвали электрические огни.

«Симка» въезжала в деревенскую улицу.

Когда Юсупов вышел из машины, его окатил колющий горный воздух и запах хлеба.

Где-то за двухэтажными домами гремела музыка, колыхался смех, вспыхивали сполохи света. Наконец, подъехал отставший автобус, и хозяева и гости направились на площадь.

То, что увидел Юсупов, превзошло все его ожидания.

Деревенская площадь, высвеченная сотнями лампочек, была забита людьми. На эстраде гремел джаз-оркестр и пели, сменяя друг друга, шансонье, натужно скрипели чертовое колесо, качели и карусели, с грохотом катился по доске металлический шар, собирая на игру в буль все больше желающих состязаться в точности удара, в шум и гам врывались голоса продавцов-лоточников и над всем этим веселым хаосом ночи висел ароматный запах мяса и лепешек, поднимавшийся от жаровен.

Несколько человек из делегации не удержались и, ступив на бетонную площадку, вошли в круг танцующих. Здесь не надо было никого приглашать, не надо было никого поддерживать за локоть, просто следовало пристроиться к танцующим и выкидывать кренделя.

Юсупов не совладел с собой; он тоже принялся подпрыгивать и протирать бетон подошвами туфель, и не заметил, сколько времени провел на площадке. Лишь когда умолкла музыка и шансонье сошел с эстрады, почувствовал, что покрылся испариной, и улыбнулся про себя. Ну надо же такое, подумал он, не захочешь—заставят тебя плясать.

Потом французские друзья пригласили своих гостей в таверну на кружку пива. Рассевшись за длинный дубовый стол и обняв друг друга за плечи, они, не договариваясь, запели «Большие Бульвары», потом «Парижского гамена», затем Габриэль взмахнул руками, бросив взгляд на Юсупова, провозгласил—«Казачок». И Юсупов тихо, но как-то уверенно, спокойно затянул «Катюшу» и его поддержали все. Но то, что увидел Юсупов, поразило его. Заслышав песню, часть присутствующих, оставив недопитыми кружки, встали с недовольной гримасой на лице и покинули таверну. Оставшиеся, повернувшись к



поющим, дружелюбно улыбались, и хлопая в ладоши, подпевали им. Подпевали полнолицый добродушный хозяин таверны, его супруга со спокойно сложенными на груди руками, а в дверь просовывались удивленные крестьяне, озирая присутствующих, и рассаживаясь за столы, повернув лица к поющим.

Юсупов впервые увидел воочию, как песня разъединяла людей, расставляла на две стороны.

Спустя полчаса Габриэль мчал автомобиль вниз, по крутой, темной дороге. Она показалась Юсупову не той, по которой они сходили в деревню, и он спросил об этом Габриэля.

— Верно, мсье, не та. Я хочу показать вам наши исторические памятники...

Проехав с десять километров, он остановил машину у глухой высокой стены. Вышли из машины неохотно. Юсупова окатила волна холодного горного воздуха. Ясная полная луна освещала большой мрачный затаившийся монастырь.

— Построен в тринадцатом веке,—объяснял Габриэль, лихорадочно бегая у стены.—Римляне не сумели его взять, оставили и пошли дальше. Но на их пути встал Каркассон, который не позволил им продвинуться вперед. От Каркассона они отошли назад. Если желаете, я повезу вас завтра в Каркассон.

— Нам и этого хватит, бичо,—сказал Мераби Луавсарбович, садясь в машину.—У нас в горах такие монастыри один на другом сидят...

— Поехали, мсье,—поддержал и Ален Кашен, он был мрачен и хмур.

Через некоторое время машина пробежала вдоль реки, миновала кемпинг, влетела в улочки и заюлила по ним. Она остановилась, прижатая несколькими каменными домами: Габриэль направил свет фар на четырехэтажный.

— Куда мы приехали?—устало спросил Мераби Луавсарбович.

— В Кагор. Я хочу показать вам исторические памятники города.

Габриэль подбежал к воротам дома, открыл калитку. Юсупов последовал за ним; перешагнув высокий порог, он вошел во дворик. На него пахнуло сыростью, мимо головы пролетела летучая мышь, одна, другая.

— Не пугайтесь, я сейчас включу свет.

Щелкнул выключатель, света не было.

— Этот маленький монастырь сохранился с тринадцатого века, более шести столетий ему. Пойдемте, я вам покажу колокольню. С нее хорошо просматривается город.

Ален Кашен что-то сердито сказал Габриэлю, тот не ответил и полез по винтовой лестнице наверх.

— Поднимайтесь осторожно, держитесь за перила.

Юсупов обратил внимание, что на каждой площадке у дверей стояли умывальники, к дверям были прибиты почтовые ящики. Габриэль тут же удовлетворил его ответ и говорил долго и живо, но Ален Кашен перевел коротко:

— Здесь сейчас живут люди.

— Наверное, переоборудовали бывшие кельи?—допытывался Юсупов.

— Да, но это тянется издавна, не сегодня.

— Я представляю, как им живется в этом каменном мешке,—сказал Юсупов.

Ален Кашен не ответил.

— Габриэль, кто живет здесь?—Юсупов попытался подобрать французские слова, но отказался от этой попытки и спросил *о-английски*.

— Живет кто? Португальцы, алжирцы... Ах, дьявол, не повезло нам, колокольня закрыта...

Спускались медленно, осторожно, гуськом по крутым ступенькам, по спине пробежал озноб от непроглядной тьмы, сырости и писка летучих мышей.

Выехав из узкой улочки, Габриэль пересек небольшую площадь и остановился в темном дворе. Он уверенно чувствовал себя в лабиринте темных переулков, тупиков, площадей и улиц.

— Следуйте за мной... Поднимитесь сюда, на эту веранду...

Юсупов осторожно поднялся по шатким, скрипучим деревянным ступенькам на второй этаж, невольно обратив внимание на оригинальной формы перила, балюстраду, наличники и думал уже задать вопрос Габриэлю, как тот опередил его.

— Это старина, эпоха Ренессанса. Время Людовика Тринадцатого.

— Вай, деда,—произнес Мераби Луавсарбович, стоявший под бзлконом.—Здесь все держится на честном слове.

— Дом находится в аварийном состоянии, но мы заставим муниципалитет его реставрировать. Наш мэр любит историю. Только вот средств не хватает на восстановление памятников.

В доме раздались шаги, где-то стукнуло. Стихло.

— Что это?—спросил удивленно Юсупов.

— Наверное, мы их разбудили,—сказал Габриэль.

— Как, здесь тоже живут?

— Живут.

Во дворе, вдоль глухой стены стояли под открытым небом подержанные, выдавшие виды машины. Ален Кашен на этот

раз из автомобиля не выходил: он сидел, откинув голову на спинку сиденья и, казалось, дремал.

8

На исходе недели вернулись в Париж. Во второй приезд, а день был ослепительно яркий, город изумил Юсупова. Тяжелый и хмурый в сырую погоду, в солнечную он оказался сказочным. И ажурные решетки балконов, опоясавшие стены, как кружева, и мансарды, лукаво глядящие из-под крыш, и белокаменные церкви—все радовало глаз, придавало праздничность.

Юсупова особенно поразило одно видение: в голубовато-золотистом воздухе неподвижно застыло белое, как снег, строение. Основания его не было видно, и казалось, строение повисло в воздухе. Это был Сакре-Кёр.

Вообще этот день преподнес Юсупову много сюрпризов. Из аэропорта Пари Орли Сюд их привезли в гостиницу «Асторию» на улицу Москвы. Мераби Луавсарбович ахал и удивлялся: как это так, в буржуазной стране и вдруг... улица Москвы. А спустя несколько часов они уже гуляли по улице Ленинграда и Севастопольскому бульвару, любовались площадью Сталинграда и Дягилева. Потом они вышли на Королевскую улицу и вскоре оказались у Собора Парижской Богоматери. Вблизи это громадное каменное здание поразило друзей архитектурным изяществом: ажурностью, легкостью, и ещё свисавшими с карнизов страшными каменными химерами.

Собор был набит до отказа туристами и парижанами. Орган извергал из себя фуги Баха. Юсупов и Мераби Луавсарбович простояли целый час, не замечая времени, наслаждались музыкой.

Затем они бродили по Пер-Лашез, и Пер-Лашез стоил того, чтобы на него потратили деньги, как заметил Мераби Луавсарбович.

— Послушай, Мераби, куда теперь повести тебя?—спросил Юсупов, чтобы прервать изливания друга.

— Ты так говоришь, будто знаешь Париж!—удивился тот.

— А зачем его знать? Если его знать, он уже не интересен. Вот, у меня карта, смотри. Площадь Шарля де Голля, площадь Согласия, а вот и Эйфелева башня...

— Эйфелеву башню хочу.

— Понял. Башня так башня.

Когда подошли к Эйфелевой башне, она немного разочаровала обоих друзей. Издали казавшаяся изящной, легкой, ажурной, вблизи она представляла собой грубое переплетение ме-

галла. Стоместный лифт поднял Юсупова и Мераби Луавсарбовича на третью смотровую площадку. Внизу лежал Париж, зеленые бульвары и просторные чаши площадей. На острове Сите, окаймленном Сеной, торчал, как пуп, Нотр Дам де Пари, на Монмартрском холме, как кусок искрящегося сахара, белел Сакре-Кёр, друзья отыскиали длинное тело Лувра, Дворец Мазарини, стали искать свой отель, но тщетно. Потом они зашли в кафе, которое расположилось тут же на площадке, заказали ужин и бутылку martin.

— Добрый день, господа!

Юсупов и Мераби Луавсарбович одновременно подняли головы.

У столика стоял Ален Кашен.

— Вы не возражаете, если я присяду к вам?

— Садитесь, репортер, садитесь,—с набитым ртом проговорил Мераби Луавсарбович.—Я все жду репортажей, когда они будут?

— Будут,—произнес Ален Кашен, подозвал официанта и сделал заказ.—Мне передали, что вы пошли гулять по Парижу.

— Верно передали,—сказал Юсупов.—В нашем активе остался еще один день—послезавтра. Так что предстоит побегать много.

— А завтра? Вы его зачеркиваете?

— Завтрашний день мы посвятим празднику «Юманите».

— В вашем распоряжении моя машина.

— Спасибо. Мы любим пешком, не так ли, Мераби?

— Так, бичо, так больше увидим...

— И что же вы увидели сегодня?

— Много.

— И Пер-Лашез,—добавил Мераби Луавсарбович.

— Стоило ли на него тратить время?—произнес Ален Кашен и осекся.

Юсупов и Мераби Луавсарбович подняли глаза, переглянулись, но ничего не сказали.

— Я хотел сказать, что вы не должны упустить ночной Монмартр, Пигаль...

— Мы как-то последовали вашему совету, посмотрели фильм,—сказал Юсупов.

— Я думаю, не разочаровались. О Франции надо иметь широкое представление,—ответил Ален Кашен и пригубил бокал с вином.—А Париж без Монмартра это еще не Париж, впрочем, как и без Пер-Лашез.

— Послушай, репортер, почему тебе не нравится Пер-Ла-

шез?—резко бросил Мераби Луавсарбович, глядя Алену Кашену прямо в глаза.

Тот опустил голову, постучал ногтями о ножку бокала, наигранно улыбнулся.

— Вы меня неправильно поняли.

— Правильно, правильно понял.—В голосе Мераби Луавсарбовича появилась жестокость.—Мы еще и в квартиру-музей Ленина ходим. И куда нам идти—наше дело. А ты лучше займись репортерскими делами.

За столиком воцарилась тишина.

— Извините, если я вас чем-нибудь обидел,—проговорил Ален Кашен.—Я не хотел этого. Я все думал, как вас можно пригласить в гости к себе.

— За это спасибо, но мы в гости ходим к хорошим друзьям, а кто вы такой, мы еще не поняли. Я так говорю, Джамал?

Юсупов заметил, как Ален Кашен вздрогнул.

— Резковато, но так.

Немного погодя Ален Кашен попрощался и, сославшись на занятость, ушел.

— Нет, Джамал, не репортер он,—сказал после долгого молчания Мераби Луавсарбович.

— Почему ты так думаешь?

— За это время можно было бы что-то написать о нас, о нашей делегации.

— И я так думаю.

— А он ничего не написал, а ходит вокруг нас, как... У вас в горах волки есть?

Юсупов удивленно взглянул на Мераби Луавсарбовича.

— Не видел. Наверное есть, где их нет. А что?

— У нас есть, бичо. Я знаю, как они ходят. А черт с ними, с волками и с этим репортером. Пойдем-ка посмотрим еще раз на Париж.

Они вышли на площадку и облокотились на перила. Облитый закатным светом, внизу лежал город.

9

На следующий день после завтрака советская группа на автобусе отправилась в пригород Парижа Сен-Дени. Здесь, в лесопарке, отмечался ежегодный праздник газеты «Юманите», ставший во Франции национальным.

Направляясь сюда, Юсупов не мог даже представить себе, что этот праздник может собрать сто тысяч человек. Да, сто

тысяч... Просторные площадки, широкие улицы, примыкающие к лесопарку, были забиты тысячами и тысячами автомашин. Люди шли сплошным непрерывным потоком.

В лесопарке стоял невообразимый шум. Песни, разливавшиеся из репродукторов, срывающиеся с эстрад и театрализованных площадок, песни на разных языках, разных ритмов и мелодий—все смешалось в какую-то яркую, громкую какофонию, от которой закладывало уши, до одури пухла голова и становилось ужасно весело, именно ужасно весело.

Несколько аллей парка занимала ярмарка. Здесь расположились павильоны почти всех стран мира. У павильона СССР выстроилась длинная очередь: люди выносили книги, балалайки, самовары, различные сувениры. Юсупов захотелось войти в павильон, но группа ушла далеко вперед и Мераби Луавсарбович, схватив его за локоть, потащил за собой.

— Вай, здесь как на добрых старых восточных базарах,—удивленно бубнил он.

Соседние аллеи занимали аттракционы. Каких только «чертовых колес», «аэродинамических труб», «монорельсовых дорог» здесь не было... Все гудело, скрежетало, скрипело, ухало, визжало, кричало. В один непонятный, неимоверно огромный ком слились звуки и шумы металла и двигателей, голоса и смех людей. А чуть поодаль—лавки, лотки, киоски, в которых продавалась и всякая еда, и различные товары, у которых тоже стояли толпы людей.

Над соседними аллеями воздух стоял аппетитный и вкусный: приходилось ежеминутно глотать слюну. Над ресторанами, кафе, бистро пахло жареным мясом, бисквитами, кофе.

Юсупов ходил по лесопарку и не переставал удивляться тому, как умело организовали свой праздник французские коммунисты. Люди здесь слушали музыку, смотрели танцы народов мира, выступления чтецов и шансонье, в павильонах знакомились с экономикой, культурой, специальным строем разных государств, делали покупки, отдыхали за столиками ресторанов. На открытых полянках лесопарка были разбиты палаточные городки теми, кто приехал на праздник издалека.

Слух Юсупова уловил знакомую мелодию. Он остановился, переглянулся с Мераби Луавсарбовичем.

— Ты слышишь, Мераби.

— Бичо, это же русские поют... Послушайте, друзья, наши поют,—громко обратился он к членам делегации.

На эстраде, которую обступили тысячная толпа французов, пел хор Большого театра. А когда солист хора Евгений Нестеренко исполнил «Песню о Ленине», французы разразились бур-

ной овацией. К горлу Юсупова подкатил комок, и вдруг так нестерпимо захотелось домой, на свою землю...

— Бис, браво,—орал рядом Мераби Луавсарбович, оглушительно хлопая в ладоши.

— Ты что разошелся?—улыбнулся Юсупов.

— Что разошелся? Бичо, свои поют, наши, родные, что разошелся говорит...

Юсупов отвел взгляд от эстрады, огляделся. Членов делегации не было видно.

— Мераби, куда все подевались?—спросил он.

— Отошли, наверное. А что ты волнуешься? Вон сколько вокруг друзей.

— Пойдем искать своих,—сказал Юсупов.—Мне кажется, они пошли на обед.

— На обед, так на обед... Бичо, что здесь раздают...

У большого павильона группа молодых людей предлагала желающим анкеты. Юсупов взял одну, пробежал по ней глазами и вернул.

— Что там написано?—Мераби разбирало любопытство.

— Анкеты для вступления в компартию. Надо ее заполнить и сдать, а завтра зайти в комитет и получить партийный билет.

Мераби Луавсарбович остановился и, округлив глаза, проговорил:

— Ты что: меня за дурака принимаешь?..

— Нет, Мераби,—засмеялся Юсупов.—Здесь так принимают в партию. Но удивлению Мераби Луавсарбовича не дался развиться. Рядом с Юсуповым остановился полицейский, взял за локоть и, что-то говоря по-французски, силой попытался отвести его в сторону. Юсупов вырвал руку и резко по-русски спросил:

— Что случилось?

Полицейский, здоровый детина, хмуро глядя на него, опять что-то сказал.

— Я не знаю французского, говорите по-английски. Что случилось?

Рядом с Юсуповым оказался второй полицейский, который взял было его за руку, но подошедший Мераби Луавсарбович, улыбаясь, схватил железными пальцами его за кисть руки и оторвал от Юсупова со словами:

— Ты советских людей так грубо не хватай своими лапами.

Вокруг смыкалось кольцо любопытствующих, то и дело раздавались слова «Советика», «Моску»...

— Мераби, не груби,—предупредил Юсупов.

— Бичо, ты не волнуйся, и я не волнуюсь.

— Кто здесь знает английский язык?—спросил громко Юсупов. Отозвалось сразу несколько голосов.

— Я буду говорить по-английски, а вы переводите на французский. Спросите их, что им от нас нужно?

— Говорят, вы вели политическую пропаганду.

— В чем они конкретно обвиняют нас?

— Вы выступали против правительства.

— Ложь. Пусть спросят свидетелей. Вот они, рядом. У этого молодого человека я брал посмотреть анкету. Пусть он подтвердит обвинение полицейского.

— Он заявляет: вы ничего не говорили.

— Это удовлетворяет полицейского?

— Он не доверяет коммунисту.

Юсупов улыбнулся:

— Я тоже коммунист. Он и мне не верит. Спросите у молодых, стоящих с анкетами, выступали ли мы с политической агитацией.

— Нон,—пронеслось над головой.—Нон.

— И это не удовлетворяет полицейского? Тогда спросите их: советские люди, коммунисты интересуются: где те демократические свободы, которые предоставляет народу буржуазное общество.

Раздался смех, хлопки в ладоши. На лицах полицейских появилась растерянность, но в эту минуту в толпу втиснулся Ален Кашен и удивленно развел руками:

— Что здесь происходит? Как понимать этот сбор?

— Митингуем,—улыбнулся Юсупов,—настоятельно советуем вашим полицейским вступить в партию.

— А может, они уже являются членами одной из партий?

— В таком случае надо уважать права человека.

— Что же все-таки случилось?

— Спросите у них сами. Вам легче найти общий язык.

Ален Кашен повернулся к полицейским, о чем-то пошептался с ними, потом раскрыл удостоверение, захлопнул и спрятал.

Полицейские откозыряли и отошли, толпа постепенно рассеялась.

— Тебя признали?—спросил Мераби Луавсарбович.—За своего признали, ни слова в ответ, под козырек и ушли?

— Репортеров они знают,—проговорил Ален Кашен.

— Репортеров они бьют, это точно. Конечно не всех, с такими, как ты, они дружат. Таких они знают. Пойдем, Джамал, пора и нам обедать.

Мераби Луавсарбович взял Юсупова под руку и увлек за

собой, приговаривая: репортер, за все эти дни ни одной доброй строчки о нас не сказал.

— Может быть, он готовит большой аналитический обзор,— сказал Юсупов, хитро искоса глянув на Мераби Луавсарбовича.

Тот переждал минуту и произнес:

— Что от него можно ожидать, я знаю: только мы уедем, он разразится бранью против нас. Помяни мое слово. Чем так вкусно пахнет? Вай, деда, жаренным луком. Какой аромат, Джамал, давно такого аромата не слышал. Что это может быть?

— Наверное, луковый суп.

— Не могу устоять перед таким вкусным запахом. Пойдем?—И он умоляюще глянул на Юсупова.

— Ну, если только не можешь, пойдем,—засмеялся Юсупов, и они вошли в ресторан и приятно удивились: за столами сидели свои, члены делегации.

В последний день Юсупов и Мераби Луавсарбович отправились в Лувр. Пробежав по залам музея в поисках Джоконды, потом, наглядевшись на нее, они смотрели картины Рубенса, Ренуара, Рембрандта, Ван Гога и направились в Дом-музей Родена. Уже к концу дня богатые впечатлениями и немного уставшие, Юсупов и Мераби Луавсарбович зашли в кафе.

— Теперь нам осталось взобраться на Монмартр,—сказал Юсупов.

— Зачем взбираться, бичо, когда есть метро,—отозвался Мераби Луавсарбович.

— И то правда.

Монмартр, увенчанный беломраморным Сакре-Кёр, поразил друзей. Немного позже, спускаясь по узким, темным улочкам, забитым девицами легкого поведения, они дали ему яркую характеристику: беспутный король с сияющей короной на голове. А сейчас они с интересом осматривали собор. Потом полные впечатлений от увиденного, свернули вправо и вышли в сквер, гудевший разноязычной речью. Длинная и высокая ограда сквера, стволы деревьев, стены кафе и ресторанов—все было увешано картинами: рисунками, эстампами и добротными живописными полотнами, а на небольшого размера листах плотной бумаги сочными красками были написаны гамен, собор Парижской богоматери, Набережная Сены, Большие Бульвары в вечерних огнях, Елисейские поля... И сотни людей топтались, охали и ахали, любопытные взирали на их авторов, шарахались, подталкиваемые толпой, от одной группы картин к другой, от одного художника к другому.

Художники не обращали внимания на толпы людей. Одни сидели скучные, подперев подбородок кулаком, другие здесь же

рисовали, стоя у небольшого мольберта. Но и те и эти томились в ожидании покупателя.

— Бичо, это тот собор, в котором мы были?—обратился Мераби Луавсарбович к Юсупову, остановившись у гирлянды картин.

— Ты угадал, Мераби.

— Я хочу взять его и вот эту, «Букинисты на набережной Сены». Надо же что-то взять на память о Париже. Интересно, сколько стоит каждая из них?

— Семь франков. Вот, в уголке—цена.

— Семь франков... Это сколько же на наши... Рубль пять копеек.

— Выходит, так.

Мераби Луавсарбович подошел к владельцу гирлянды:

— Слушай, давай за пять франков,—он растопырил пальцы руки,—пять франков, три картины возьму.

— Нон-нон,—замотал лохматой головой художник.

— Три возьму за пять франков, не понимает, пять, пять и пять,—Мераби Луавсарбович три раза поднял и опустил растопыренную пятерню.

Художник, очевидно поняв его, вдруг закивал согласно и повел пальцем по картинам: какие желает покупатель? Затем аккуратно свернул в трубочку, обернул бумагой и перевязал ленточкой.

— Джамал, а ты ничего не берешь в память о Париже?

— Присмотрюсь, Мераби, пока не подобрал.

Они вышли из толчеи сквера и углубились в небольшую площадь, забитую людьми. Какофония, хохот, визг—все слилось здесь в большой замысловатый клубок звуков. Несколько небольших оркестров играли поп-музыку, захлебываясь, пели шансонье на пяточке. Мужчина в трико красного цвета и две полуобнаженные женщины выделывали акробатические трюки.

— У меня дурнеет голова от этого базара,—проговорил устало Мераби Луавсарбович,—пойдем отсюда.

Они вышли на узкую улочку, полуосвещенную и покатую. Дома на ней стояли двухэтажные, каменные, от которых веяло холодом. Вдоль стен, одни подбоченясь, другие выставив похотливо бедро, третьи с гордо поднятой головой стояли девицы, позванивая ключами.

Юсупов и Мераби Луавсарбович осторожно пошли по мостовой, стараясь не смотреть на девиц, не привлекать их внимания.

— О всемогущий,—вдруг прошептал Мераби Луавсарбович,—дай нам с честью выйти из этого ада...

— Бога вспомнил,—проговорил Юсупов.

— Тут и бога вспомнишь, и черта...

Вдруг Юсупов почувствовал прикосновение чьих-то пальцев на плече. Он замедлил шаг, остановился, обернулся. Женщина была молодая. От нее исходил тонкий, чудный запах.

— Я вас не понял, мадам,—сказал Юсупов по-английски.

— О, мсье не француз. Сэр, не хотите ли побыть со мной?—спросила она на плохом английском языке.

— Нет, мадам, не могу...

Юсупов пытался отвести глаза от ее высокой красивой шеи и тугой груди и не мог.

— Пусть это вас не беспокоит.—Улыбка тронула ее чувствительные губы.—Я помогу.

— Нет, мадам, не можете. У меня нет денег.

— Мужчина ночью на Монмартре и без денег?

Она что-то еще сказала по-французски под хохот подруг, фыркнула и отошла.

Юсупов облегченно вздохнул и последовал за Мераби Луавсарбовичем, дожидавшимся его чуть поодаль:

— Если каждая будет подходить, бичо, и ослеплять своими прелестями, я не устою.

— Они сами устоят, успокойся. Тебе нечем им платить.

— Почему ты думаешь—нечем. Если надо—наскребу.

Мераби Луавсарбович замолчал, потом проговорил:

— Жалко мне их, брат Джамал, по-человечески жалко. Они не знают настоящей любви. Жалко...—коротко заключил он.

Они спустились по длинной каменной лестнице, свернули налево. Их внимание привлек мягкий голубой свет, который исходил из окна бара и растекался по тротуару.

— С удовольствием выпил бы кружку пива,—сказал Мераби Луавсарбович.

— И я непрочь,—отозвался Юсупов.

Он открыл дверь и переступил порог. На высоких стульях за стойкой сидели две девицы, обнаженные. Закинув ногу на ногу, они попыхивали сигаретами, держа их в длинных пальцах. На стойке стояли два фужера с жидкостью на дне.

— Пардон, мадам,—произнес Юсупов, делая шаг назад.

— О, заходите, мсье,—одна из женщин соскочила на пол,—мы ждем...

Только сейчас Юсупов заметил, что на ногах у них были красные чулки и такого же цвета туфли.

— Пардон, мадам,—снова проговорил Юсупов.—Мы ошиблись.

Перед ним стояла совершенно голая женщина, и он даже растерялся.

— О, мсье не француз?—женщина сложила губы трубочкой и округлила глаза.—Англичанин? Мне нравятся англичане, а тебе, Мими?

Она обернулась к подруге, и в эту секунду Юсупов бесшумно ступил за порог и вышел на улицу. Повернувшись и не увидев клиента, женщина подбежала к окну, и, прижавшись лицом к стеклу, застучала по нему пальцами. Юсупов с другом, не оборачиваясь, заспешили подальше от злчного места. Метров через тридцать они опять набрели на бар с девицами, потом еще... Улочка, и следующие, по которой друзья торопливо спустились, были напичканы интимными барами.

Наконец, друзья вышли на широкую улицу. И застыли. После тихих и полутемных улочек им показалось, что над головой гремят раскаты грома и' полыхают молнии. Их окатило шумом и светом. Юсупов зажмурился, потом открыл глаза. Сотни лампочек и фонарей, неоновых трубок и реклам ослепительно горели, перемигивались, выплескивая на тротуары яркие цвета: зеленые, желтые, синие, голубые, красные, фиолетовые, образуя сполохи. Потом Юсупова оглушил шум: гудки клаксонов и рев моторов автомашин, громкая разноязыкая речь, смех. И над всем этим хаосом стоял смрад выхлопных газов, запах жареного мяса, духов и пота.

Юсупов и Мераби Луавсарбович пошли по улице, оглядывая рекламы. Всюду пылали слова: «Секс шоп», «Порно шоп», «Салон эротика»... Из баров и ресторанов вырывалась музыка.

— Джамал, брат мой, можно ли, посетив Париж, не побывать хотя бы в одном таком магазине? Простим ли мы себе это?—спросил осторожно Мераби Луавсарбович, с удивлением взирая вокруг.

— В каком магазине, Мераби?

— Ну, в таком «секс шоп».

Юсупов засмеялся:

— Уже усвоил.

Они переступили порог магазина вслед за шумной группой итальянских туристов. Книжные полки буквально ломились от порнографической литературы.

— Вай, деда,—прошептал ошарашенный Мераби Луавсарбович,—не знаю, как все это назвать. Слушай, Джамал, а что в другой комнате?

— Сейчас посмотрим.

Вторая комната была разделена на кабины, задвинутые што-

рами. Юсупов раздвинул штору: тесно прижавшись друг к другу, юноша и девушка смотрели в окошко.

Юсупов извинился, на что те не обратили никакого внимания, вошел в другую, свободную.

— Садись, Мераби, и задвинь штору. Мне кажется, это кино. Видишь, в эту щелку надо опустить пять франков, и смотри на здоровье...

— Проверим твои предположения...

Мераби Луавсарбович просунул в щель пять однофранковых монет, за стеклом вспыхнул экран... Совершенно обнаженные люди предавались любви.

Фильм длился двадцать минут.

— Вот это тоже Париж,—сказал Мераби Луавсарбович, выходя из магазина вслед за Юсуповым.

Они молча прошли мимо Мулен Руж, на котором бесшумно вращались темные крылья ветряной мельницы, когда перед ними встал крупный мужчина в темном клубном костюме. Он что-то сказал, потом повторил по-английски.

— Прошу вас зайти к нам, получите массу удовольствий.

Над ярко освещенной стеклянной дверью горела реклама «Салон эротика».

— Премного благодарны, мы уже побывали в подобном заведении,—сказал Юсупов по-английски.

— У нас лучше,—ответил мужчина.—Уверю вас, сэр, не пожалеете.

— Премного благодарны.

Юсупов и Мераби Луавсарбович прошли мимо больших окон салона, завешанных порнографическими фотографиями, миновали кинотеатр «Колорадо», в котором демонстрировались фильмы ужасов, и тут столкнулись с Аленом Кашеном.

— Рад встретиться,—Ален Кашен развел широко руки, словно для объятий, потом, будто одумавшись, опустил их.—Притомились, вижу по лицам.

— Разве? На этот раз вы не отличили утомление от возбуждения. В этом бедламе не утомишься,—пробурчал Мераби Луавсарбович.

— Ну!—Юсупов дружески хлопнул его по плечу.—Ален Кашен хочет прокатить нас по ночному Парижу.

Ален Кашен поднял на него глаза.

— Не испугаетесь?

— Чего нам пугаться?—в свою очередь удивился Юсупов.

— Ну, завезу куда-нибудь, вызову на провокацию, мало ли что можно придумать... Вы, по-моему, слишком осторожничаете и, не будет в обиду сказано, шарахаетесь от меня.

— Да?—Юсупов глянул на хмурое лицо Мераби Луавсарбовича и утешительно махнул рукой:

— Будь что будет. Везите по Парижу. Последняя ведь ночь. Прощальная.

11

И снова аэропорт Орли Пари Сюд.

Снова толчея, наведенные объективы фотоаппаратов, интервью.

Юсупов интуитивно почувствовал на себе чей-то острый взгляд, огляделся, увидел Алена Кашена. Тот быстро несколько раз щелкнул фотоаппаратом.

— Не возражаете?

— Нет, почему же. А впрочем, и возрази даже я, вы все равно сделали бы свое дело.

— Да, конечно.

Ален Кашен помолчал, потом проговорил:

— И все-таки вы меня обидели.

— Чем же?

— Отказавшись пойти в гости. Не знаю даже, чем объяснить ваш отказ. Я вам не враг, не таил против вас ничего дурного... Мне хотелось посидеть с вами, поговорить, очень хотелось, а вы чего-то пугались, ведь вижу я, вижу...

— Мы с вами немало говорили.

— Хотелось в другой обстановке, в домашней. Ну что же, прощайте, ваши уходят.

Ален Кашен протянул руку. Юсупов подал свою и... не стал уже выяснять, почему француз так долго и крепко стискивает её: товарищи уже шли в здание аэровокзала к таможенникам, и он поспешил за ними.

Ален Кашен долго и неотрывно смотрел ему вслед, затем подошел к своей машине и просидел на бампере, пока ИЛ-62М не поднялся в воздух. Проводив самолет глазами, он долго и бездумно глядел туда, где растаяла стальная птица, потом сел в машину и вырулил на трассу, ведущую в Париж.

А в эти минуты Юсупов полулежал в кресле авиалайнера.

Пассажиры были молодые ребята и девушки, совершившие увлекательное туристическое путешествие по Франции, и Юсупов, закрыв глаза, притворившись спящим, прислушивался к разговорам. Впечатления у них у всех были разные. Одних восхищала архитектура и исторические памятники, других умиляла теплота южан, третьи были в восторге от Парижа, четвертых волновала судьба безработных... Правильно, все правильно,

думал про себя Юсупов, пусть смотрят чужой мир, пусть высказываются, спорят, судят, молодые должны видеть и знать многое, чтобы дорожить своим домом, своей землей... Ведь и вино крепко и ценно, когда оно перебродит....

— Граждане пассажиры, наш самолет ИЛ-62М пересек воздушную границу Союза Советских Социалистических Республик,—раздался в репродукторе женский голос. И тут же громко, яростно захлопали пассажиры.

Комок подкатил к горлу Юсупова, перехватило дыхание, увлажнились глаза. Юсупов крепко стиснул зубы, переборол минутную слабость и тихо несколько раз кашлянул, выдавив сгусток волнения. Потом повернулся к иллюминатору. Под ослепительно синим небом лежала бескрайняя зеленая, в лесах и реках земля. Своя, до боли родная земля.

ЭПИЛОГ

Был поздний осенний вечер.

Пригород Парижа Сен-Клу засыпал: в окнах гасли огни, пустели улицы.

Ален Кашен въехал во двор, устало откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Несколько дней он находился в немилости у шефа-начальника отдела радиостанции «Свобода»: не подготовил запланированных пасквилей на делегацию советских виноделов. В таких случаях сотрудника отдела ожидало суровое наказание.

Для Алена Кашена исключения не могло быть.

Ален Кашен не стал заводить «Симку» в гараж: он вышел из машины и нехотя, лениво поднялся на крыльцо. Открыв дверь, просунул в темноту руку, нащупал выключатель: мягкий голубой свет залил уютную прихожую. Ален Кашен повесил на вешалку замшевую куртку, прошел в гостиную, опустился на диван, бессмысленно уставился на обнаженную рыхлую женщину, похотливо смотревшую на него с картины, сказал про себя. Я его узнал сразу. Да, это был он. А он, узнал ли он меня?.. Иногда так остро вглядывался, что сердце замирало. Сколько лет-то прошло, и лицо мое, обожженное, далеко не то, что было в молодости. Я его узнал.

Ален Кашен перевел взгляд на синие горы в снеговых шапках, которые были заключены в золоченую рамку. Эта картина успокаивала его гаммой холодных цветов, напоминала о днях юности. Он долго глядел на горы, потом лег навзничь. И задремал.

Из непроглядной тьмы на него наплывали лица, искаженные дьявольским смехом и дикой злобой, он долго пытался снять с них уродливые маски и, когда это ему удалось, узнал своих коллег... Потом из темноты к нему осторожно пошла женщина в черном длинном платье, с протянутыми руками. Она была слепа. И не задев его, тихо прошла мимо.

Кто эта туземка, подумал Ален Кашен. Кажется, где-то я ее видел. В Алжире? В Ливане? Нет, где-то в Азии, в Азии...

Женщина снова появилась далеко впереди и пошла к нему ощупью. Он пристально вглядывался в нее, но лицо расплывалось и лишь губы, твердые, полные, шевелились, что-то шепча. Он приковал все свое внимание к ее губам, и холодный пот прошиб его, когда он прочитал беззвучно произносимые слова: «балам, вай, балам». Потом на какую-то секунду, на миг четко обозначилось лицо женщины. Вспыхнуло и погасло.

— Вай, ана...—со всхлипом вскрикнул Ален Кашен. И проснулся.

Он вскочил с дивана, тупо уставился на дверь, потом присел и ладонью вяло потирая занявшую грудь, прошептал:

— Вай, ана...

Он произносил эти слова, когда ему бывало очень больно.

Он всегда вспоминал в тяжелые минуты мать.

Ален Кашен поднял взгляд на горы, но они не успокоили его. Они были слишком красивы на картине и совершенно не напоминали его гор, диких и величественных. Те горы, горы далекого детства, он давно забыл и не мог вспомнить, как ни напрягал память; их вытесняли картинные... Память... она была у него сильно натренирована и помнила сотни лиц и событий, имен и городов. Только не годы юности и образы родных. В ней не осталось ни пятнышка от тех лет, словно ее выстирали и выгладили. И только одну фразу произносил он, да и то, когда ему бывало нестерпимо больно.

Ален Кашен встал и заходил по комнате. Ноги по щиколотку утопали в высоком ворсе богатого ковра.

— Вай, ана,—шептал он, сжимая лицо большими, сильными руками. И этот шепот больно растекался по всему телу, обволакивая, опутывая безысходной тоской сердце. Он не помнил, когда еще тосковало так сильно его сердце. В тот огненный день войны? Или когда очутился на чужбине, не зная ни языка, ни нравов чужой земли? Он не помнил...

Ален Кашен подошел к бару, заставленному бутылками, налил в бокал виски, выпил. Потом встал у письменного стола и долго, бессмысленно смотрел на его полированную поверхность.

Наконец, он сел в кресло, придвинул стопку бумаг и принялся медленно писать.

«Мать. Ты, наверное, давно прокляла своего сына. Вырвала его из своего сердца. Может быть, ты и права, мать. Мне сейчас приснилось твое лицо, ты пришла ко мне в такую даль, чтобы напомнить о себе, о земле отцов... Я видел твое лицо, мать, которое тщетно пытался представить долгие годы. Как ты постарела, мать. И ослепла... Почему ты ослепла? Твои глаза иссохли от невыплаканных слез, которые ты боялась показать людям, и моим сестрам! Прости меня, мать... Тебе не придется болеть душой за моих детей. У меня их нет. У меня нет семьи. У меня нет никого. Я один на этом свете, отторженный, проклятый, не нужный никому. Я чуть не совершил еще одну подлость...

Мать, бедная моя мать, прошу тебя, умоляю тебя, вспомни меня в мой последний миг...»

Ален Кашен подбирал слова очень медленно и трудно, потому что писал на родном языке. Вдруг где-то залаяла, а потом завyla собака. Душераздирающий крик вспорол тишину. Ален Кашен поднял голову. Послышались крики, топот ног. Он отложил ручку, машинально достал из ящика стола пистолет, положил в карман брюк и вышел во двор. Лай слышался уже далеко, у леса.

Ален Кашен долго стоял во дворе, вдыхая запахи осени, потом обернулся к вилле, от которой веяло одиночеством: Моя обитель, крепость и семья, горько усмехнулся Ален Кашен и, нехотя поднявшись по ступенькам крыльца, вошел в дом. Его обдало прохладой. Как в склепе, подумал он, и остановился перед картиной в золоченой рамке. От гор веяло холодом. Голубые, омытые солнцем, они почему-то стыли, может, оттого, что на хребтах лежал снег и облака, громоздившиеся под солнцем, походили на снежные лавы...

Ален Кашен подошел к столу, уставился на исписанные листки бумаги, открыл бар, но не стал пить и нервно зашагал по комнате. Ныло сердце. Хотелось свежего, пахучего осеннего воздуха. Ален Кашен вышел во двор, глубоко вздохнул, закрыл глаза, но блаженства не ощутил.

Он открыл дверцу машины, опустился на сиденье, включил приемник. Музыка не помогла снять душевную боль.—Бай, ана,—прошептал безнадежно Ален Кашен, вытащил из кармана пистолет и приложил к виску.

В этот вечер свет в доме Юсупова горел допоздна. Гости все разошлись, когда в комнату ступила старая Марьям. Она медленно шла от дверей, не отрывая глаз от Юсупова.

— Садитесь, тетушка Марьям, расскажу о чужой стороне, что увидел, чего не показали.

— Скажи, сынок, встретил ты его там?—спросила Марьям, присаживаясь на краешек стула.

— Нет, тетушка. Нет его там.

— Чувствую, что он живой, сынок, не мог он умереть.

— Погиб он на войне. Сколько людей погибло в ней, сколько пропало без вести.

— Много народу перемололи ее жернова,—прошептала Марьям.—Но чуется мое сердце, что жив он. Посмотри на меня, сынок, дай поглядеть в твои глаза... Что-то они таят...

— Нечего им таить, тетушка, просто утомился немного. Такого нагляделся там, что ни из книг, ни из газет не узнаешь. Нет на свете лучше своей земли, теплее своего очага. Чужая булка, говорил наш отец, тебя не насытит, умей сам испечь ее.

— Правильно ты сказал, сынок. Чужая булка—ком в горле,—тихо проговорила Марьям и попыталась встать.—Пойду. Поздно уже.

Юсупов взглянул на нее и похолодел. Лицо старой Марьям, всегда шафранового цвета, вдруг на глазах стало синеть. Женщина приложила руку к груди и охнула.

— Что с вами?—Юсупов вскочил с места, налил в стакан воду и заставил ее сделать несколько глотков. Она тонко и больно вздохнула и проговорила:

— Отпустило... Дернуло и отпустило. Что-то случилось...

— Успокойтесь, тетушка. Не думайте ни о чем. Дайте успокоиться сердцу. Оно ведь не каменное, долго страдать не может.

— Да, сынок, долго не может.—И устало свесила голову на грудь.

В эти минуты Ален Кашен достал из кармана пистолет и приложил к виску.

Холодок стволы отрезвил его.—Что я делаю?—спросил он себя,—зачем, что изменится от того, что я пушу себе пулю... Пушу пулю?

Дрожь пробежала по телу, Ален Кашен засунул пистолет в карман, вышел из машины и поднялся в дом. Подойдя к

столу, он поднял исписанные листы, перечитал их и, медленно, аккуратно разорвав на мелкие куски, бросил в пепельницу. Щелкнул зажигалкой, поднес красно-голубое пламя. Бумага вспыхнула и долго, обугливаясь, корчилась и сжималась от боли.

И здесь я оказался трусом, подумал про себя Ален Кашен, но тут же упредил свою мысль: трусость ли это? Что изменится от того, если меня не будет? Ничего. Для них меня нет. Для них я давно умер. Но сам-то я дышу, я существую как человек, как живой организм, каких уйма на земле. Боже, я устал, мозг мой утомился... Когда придет конец всему, конец, я не хочу ни думать, ни видеть, ни слышать...

Ален Кашен бросился на диван и, закрыв глаза, пытался отогнать мысли, но продолжали рождаться вопросы за вопросами. Ален Кашен тяжело обрушил кулаки на диван, встал, вышел во двор. Над городом стояла тихая безлунная ночь. Он сел в машину, рывком выехал за ворота и погнал «Симку» по шоссе. Стрелка спидометра вздрагивала на отметке сто сорок. Хоть бы врезаться во что-нибудь, и конец!—мелькнула мысль, от которой Ален Кашен тут же покрылся испариной.

ПОСТИГАЮ СЕБЯ

(Тетради Умалата Бегова)

I

От автора

Ранняя осень.

Мы сидим на холме, с которого открывается вид на уютный поселок и железную дорогу, ускользающую в океан тайги.

Борис Кочкарев водит веткой по траве, продолжает:

— Около года он работал с нами, как вол. В начале, было, я тревожился за него, думал, сломится. Да нет: в душе его горел какой-то огонек.

Борис Кочкарев руководит отрядом молодых строителей, который приехал на БАМ из Страны гор несколько лет назад.

— Мы учились с ним в университете, правда, на разных курсах, был он хрупкий, впечатлительный парень. И вот на тебе, здесь вкалывал наравне со всеми...

Я его тоже знал. Все мы окончили в один год университет и разъехались кто куда. Здесь, на БАМе, я столкнулся с ним за день до его отъезда. Это был уже высокий, чуть-чуть сутулящийся молодой человек с резкими, решительными чертами лица. Он стрельнул по мне острым взглядом, замешкался и прошел мимо. Мы не узнали друг друга. Да и мог ли я себе позволить подумать, что встречу его в Сибири. А когда в памяти промелькнуло что-то знакомое, я остановился, обернулся, его и след простыл.

— Мы его уговаривали остаться, не согласился. Поеду, говорит, к своим ребятам, не могу без них, да и рассказать есть им о чем...

— У него много детей?

Борис Кочкарев засмеялся:

— Учительствует в школе. Он оставил кое-какие вещи, среди них тетради с записями, похоже, что дневники. Тебе, должно быть, как писателю, это интересно.

Уже в самолете, удобно расположившись в кресле, я достал из портфеля тетради и прочитал жизнеописание Умалата. И решил без каких-либо комментариев предложить вам...

Тетрадь первая

* * *

Я хочу рассказать о себе, о своей жизни, которая пока не привела меня ни к одной пристани. В один миг рухнули все мои надежды. Я оказался без друзей, без любви. В двадцать семь лет.

Друзья от меня отошли незаметно, не принимая мои взгляды на жизнь, и теперь, если мы случайно встретимся на улице, пожмем друг другу руки, посидим на скамеечке, поговорим о всякой всячине и разойдемся. Мне претит рюмочная дружба, а искать новых друзей в мои годы кажется невозможным. К чему мне такой друг, как Эльдар? Женился по любви, два года обхаживал будущую супругу, добился ее руки, произвел на свет девочку, а затем он разводится с ней. Видите ли, она заболела, ему больная жена не нужна. И пошли они по судам, начался дележ имущества и квартиры. Он боролся, цеплялся за каждую вещь, за каждый квадратный метр площади. А однажды встречаю его по пути на работу: угрюмого, заросшего. На мой вопрос грустно так, с тоской отвечает: горе у меня, жена умерла. Какое лицемерие...

Я очень верил, а может, хотел верить, что фундаментом человеческой жизни должна быть любовь. А ее пытаются спрятать, стараются реже упоминать слово «любовь», словно чего-то стыдятся, боятся.

У меня голова идет кругом от всяких дум. Но к чему мне чужие горести и тревоги, думаю я часто, неужели один я в ответе за судьбу мира и населяющих его людей? У меня своих забот уйма. Мысли опять отвергают меня как индивидуума, и настраивают на окружающих меня людей. Даже мой мозг не хочет дружить со мной, я ему до чертиков надоел. Хоть бросайся с крутого берега и плыви куда угодно, к глупым безъязыким рыбам. Только бы не думать ни о друзьях, ни о женщинах, ни о крушении надежд, устал...

* * *

Так я рассуждаю, направляясь домой.

Отпираю дверь, вхожу в квартиру, бросаю на пол портфель и тут замечаю записку, приколотую к настенному календарю.

«Задержусь на работе. Ужинай у мамы. Ц.»

Ц.—успокоительная приписка и приписка эта прочно вошла в наш быт. Спустя минут пятнадцать я уже у тещи, которую так и не смог полюбить. Впрочем, есть довольно веские и обстоятельные к тому причины. Ее устами можно мед пить, но в каждом глотке меда ощутить тысячеиглого ежа, а улыбка такова, словно ее губы растянули силой и не отпускают под страхом смерти. Она смотрит на меня, как кролик на удава, но чувствую, что хотела бы быть в положении удава.

— Редкий гость,—говорит она, не меняя улыбки.

— Я был у вас позавчера.—Уточняю деликатно.

— А я хотела бы видеть тебя каждый день.

— Тогда мне придется перенести свою школу в вашу квартиру.

И все в таком духе. Ох, как мне надоело это притворство и лицемерие. Ну что за люди?

Она угощает меня так щедро и назойливо, что становится тошно и от вида еды, и от ее слов. Может, не прав я. Не выдерживаю, ухожу. Опять нанесена кровная обида, которую она изольет своей доченьке, да еще подкрепив эмоциями и жестикующей. Я облачаюсь в спортивный костюм, опускаюсь в кресло и, вытянув удобно ноги, приступаю к чтению романа Хемингуэя «Острова в океане». Вернее, перечитываю. Как талантливо! Надо же суметь написать такую простую и умную вещь. Одному дано романы сочинять, а сотни других не могут статейку в газету написать. Удивительно сложен мир. Я случайно бросаю взгляд на часы. Ого, десять. А жены все нет: очевидно, тяжелый выдался день. Впрочем, люди сейчас стали непонятными в своих желаниях: одни любят, когда день заполнен до предела, другие тяготеют работой и ждут от дня еще чего-то эдакого... Все уживаются и мило сосуществуют...

Слышу стук притворяемой двери, потом быстрые мягкие шаги, ощущаю легкий поцелуй холодных губ в щеку, что свидетельствует о приходе моей жены и ее неплохом расположении духа. Но я устал, утомился от ожидания и полон впечатлений от прочитанной книги и потому нахожусь в туманном состоянии.

— Ты ужинал?—раздается голос из кухни, сопровождаемый звоном посуды.

— Ужинал,—отвечаю я тягуче-сонно и закрываю веки.

— Как моя мама?

Ага, как мудрый и хитрый Коа, подкрадывается душеспательная тема.

— Отлично выглядит и не жалуется на духоту.

— Опять остришь?

И умолкает... Быть того не может, но она молчит, это потрясаяще и можно отнести к небывалому факту. Очень странно, что «тещина тема» так быстро и без прецедента исчерпана. Это умиляет меня. Я выключаю свет в кабинете, иду в спальню и, раздевшись, ложусь в холодную постель, приятно ощущая крахмальный хруст простыни. Протягиваю руку к жене, пытаюсь привлечь ее к себе, она тяжела и неподвижна, и глухо и скучно, сквозь сон произносит:—я устала, оставь меня... Я слышу эти слова не первый день. Чем все это объяснить?

* * *

Завершив утренний туалет, в который входит гимнастика, я принимаю легкий завтрак и ухожу на работу. Жена еще находится во власти сна.

Люди спешат на работу. Люблю наблюдать за выражением их лиц: хмурые, злые, сосредоточенные, улыбчивые, постные—какие только не проходят мимо и навстречу. Любопытно, какие мелодрамы и трагедии были разыграны ночью. Стоп, говорю я себе, остановись, нужно ли тебе знать это, у самого не слава богу. А все-таки любопытно...

В учительскую вхожу одним из первых, опускаюсь удобно в кресло и внимательно, но без каких-либо эмоций, встречаю коллег. В основном, это женщины, и угораздило же меня попасть в женский монастырь. Впрочем, виной тому моя специальность, а менять ее пока еще не задумывался. Откровенно говоря, с одной стороны... приятно работать в таком обществе. Умопомрачительно расширяется кругозор: за какие-то полчаса и разных романтических историй наслушаешься, и к сплетням навостришь уши, будешь в курсе всех рыночных цен, и о себе кое-что новое узнаешь, тем самым дополнишь свою скудную биографию. Так что для интеллектуального роста лучшего университета не сыщешь.

Вот сидит в углу броская блондинка по фамилии Лупарь. Ее слишком заинтересованный взгляд направлен в мою сторону. Мне она не симпатична. Подобаает ли так вести себя школьному врачу?

— Товарищ Лупарь,—говорю ей тихо,—отведите, пожалуйста, от меня ваши прелестные серые глаза.

— Что вы говорите!—улыбается она, сложив губы трубочкой.

— Говорю, что они смущают меня, а ведь впереди шесть уроков.

— Подумать только... Вы хотите меня убедить, что живете своими уроками?

— И еще кое-чем, как любое живое существо. Но уроки...

— Что вы говорите,—повторяет она снова, вытянув губы. —Я хотела бы подробнее узнать, что относится к понятию «кое-чем».

— Товарищ Лупарь, вы, по-моему, знаете больше, намного больше, чем вам следовало бы...

— Век живи, век учись,—смеется она,—а вот вас я еще не знаю.

Ее серые глаза хитрят. Чувствую, что она хотела сказать иначе, но, слава богу, она еще не забыла уроки этики, полученные некогда в школе... Не уважаю женщин, которые липнут, теряя самолюбие. Правда, ко мне еще никто не прилипал, только досаждают взглядами, намеками...

Притворив за собой осторожно дверь, входит Самарина. Она моя тайная любовь. Бывают люди неброские, спокойные, ничем не выделяются, но западают в душу. Такая и Самарина. Надо же такое... Читаю ребятам стихи, а передо мной ее образ. Просто с ума сойти! Завтракаю дома или ужинаю в присутствии жены—передо мной Самарина. Даже сплетни не помогают мне изменить о ней свое мнение. А они растут не по дням, а по часам, как грибы после дождя. Но я никак не разумею, какой дождь благоприятствует им. Сплетни, словно брошенные кем-то камни, больно бьют меня. Одна за другой... Конца им не видеть, и мне хочется орать во все горло—больно, больно... Но крик мой мечется только в душе и там же умирает.

Вот она сидит передо мной, милый товарищ Самарина. Если б только знала, как я горестно вздыхаю над своей судьбой долгими одинокими часами. Но она этого никогда не узнает. Женщины любят покровительствовать слабым мужчинам. Но я не позволю себе стать слабым.

* * *

С некоторых пор все изливаются передо мной, обнажают душу, делятся бедами, радостями, а мне не хватает решимости отвернуться и показать спину.

Вот и сейчас звонит телефон, поднимаю трубку, в учительской никого нет, кроме меня.

— Слушаю вас.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте,—отвечаю я.

— Ах, это ты. Что нового?

— А ты знаешь, у меня есть. Представь себе. На прошлой неделе познакомилась с капитаном.

— Надо же,—говорю я тихо.

— Да. Ин-те-рес-ный такой...

— Как суждено было случиться вашему счастью?

— Знаешь, на пляже познакомились. Пришла с Алешкой подышать свежим воздухом, рядом расположились два офицера, один так и привязался к Алешке: бегают с ним, играют, в кафе повел...

— Надо же,—повторяю я снова дурацкую фразу, удивляясь и поражаясь наивности женщин. Подумаешь, бегают с Алешкой. Мужчина с кем только не побегает, если решил познакомиться с женщиной...

— Он уже и дома у нас был.—Моя мысль прерывается на кульминационной точке.

— Дома? Так... быстро?

— И моя мама то же самое сказала. Но он такой простой и обходительный... Вел себя так, словно не раз бывал у нас.

— М-да...—произношу я. Что еще сказать?—Любовь с первого взгляда.

— Как он мне нравится!

— Теперь ты должна его обольстить,—говорю я, тяжело вздыхая.—Иначе он может исчезнуть. Уверен, что вы еще и не поцеловались.

— Как ты можешь! Конечно, нет.

— Вот видишь, а он мужчина...

— Как же мне поступить, подскажи, пожалуйста.

— Тебе виднее, как поступают в такой ситуации. Ну, поступи так, как подсказывает сердце. Ведь оно тебе что-нибудь подсказывает, надеюсь?..

Людмила Савельевна—подруга Лупарь и Самариной. Когда-то она была замужем, но муж по неизвестной причине запил, она развелась с ним, и вот полных четыре года бредит офицером, которого, очевидно, увидела во сне.

— Я хочу поехать к нему в часть,—говорит она.

— А это к чему?—говорю я.

— Понимаешь, неделя, как не появляется и не звонит.

— Ну, разве это срок. Неделя. Не к чему волноваться и изводить себя.

— Тебе легко говорить.

Да, мне легко. Вот какое обо мне сложилось мнение. Мне все легко. И жить легко, и терять друзей легко, и любить легко, и работать легко, ну, настоящий воздушный шарик.

— Если любит—придет,—говорю я.

— Ты думаешь?

— Мои думы тут не помогут. Такова диалектика природы.

— Вообще-то ты прав. И все-таки, что посоветуешь мне?

Вообще-то! Подумать только, а в частности? События покажут. Не хочу себя считать предсказателем, но чувствую всеми фибрами души, что этот сентиментальный романчик не будет иметь конца. А может, я ошибусь. Хотелось бы ошибиться...

— Что ты мне скажешь еще?—говорит она.

— Ничего больше,—отвечаю я.

Какая самоуверенность, подумать только, влюбиться в человека с первого взгляда и уверять себя, что и он влюбился в нее. Да и влюбилась ли? Вот еще в чем вопрос. Может, просто понравился он ей, да и только. Впрочем, события покажут, мне-то чего ради голову ломать!

* * *

Пробираясь сквозь людскую сутолоку, сталкиваюсь с шурином. Добрый, неглупый человек. Он и главный архитектор города, и преподаватель политехнического института, и лектор общества «Знание». Он обнимает меня тепло, ласково как-то, и в его объятии чувствую жалость, сочувствие. Потом осторожно похлопывает меня по плечу: мужайся, мол, держись молодцом... С чего бы?

— Как, брат, дела?

— Плыву по течению.

— Так держать. Обязательно выйдешь в океан. А как насчет прекрасного пола?

— В правилах жизни не люблю примечаний.

— Ха-ха-ха, юмор, брат. Женщины—примечание.

Он вдруг становится серьезным, берет меня под руку, затем после небольшой паузы говорит:

— Знаешь, брат, ушел бы ты лучше из дома, взял бы свое барахлишко и ушел.

— С чего это вдруг—взять и уйти,—говорю я, а сам чувствую, что сбываются мои предположения.

— Она тебе не пара, хотя и сестра мне, говорю от чистого сердца.

— Почему же... Мы подходим друг другу по росту, на улице шагаем в ногу, не сбиваемся с ритма, дома она меня окружила тишиной, не докучает разговорами, не балует ласками, чтобы я преждевременно не изнашивался. Ты просто завидуешь мне.

Он долго и пристально смотрит мне в глаза, изучает, так сказать, затем качает головой и произносит:

— Твердокожий... А знаешь ли ты, что она...

— Прошу не трогать мою жену,—говорю я спокойно, освобождая локоть из его цепкой руки и отдаю себя во власть людского потока.

— Ты на меня не обижайся,—басит он,—я тебе добра желаю...

* * *

Мне никак не дается план завтрашнего урока, ума не приложу, что со мной? Голова пуста, как воздушный шар, плотно прижимаю ее ладонями, чтобы не взлетела под потолок.

— Как же ты могла так?—говорю я тихо и вдруг слышу в ответ:

— Что я смогла?

Мне казалось, что я сказал про себя, потому что плотно были прижаты уши. Неужели она слышала крик моей души?

— Ты имеешь в виду наши отношения?—переспрашивает она.

— Ваши,—уточняю я.—Он, по-моему, сидел за нами через парту, и был, если мне не изменяет память, твоей школьной любовью.

Слышу всхлипы, ужасно не нравится мне, когда плачут женщины, сил не бывает смотреть на них, хуже того, вносят в душу смуту и жалость.

— Кроме правдивости человеку необходимо и другое качество—смелость,—говорю я.

Потом встаю и выхожу на балкон. Хочется раскинуть руки, прыгнуть и парить над ночным двором. Но вот беда-то какая: парить человеку не дано, упаду мешком на землю. А для того, чтобы в двадцать семь лет падать с седьмого этажа мешком на землю, большого ума и мужества не надо.

Мои мысли прерывает долгий тревожный звонок, потом из комнаты слышится тещин голос:

— Как тут у вас? Ну вот, так я и знала. Чувствовала ведь, что-то случилось.

— Ничего не случилось, мама...

— Ну я же не слепая, опять он тебя обидел...

— Нет, мама, ничего не случилось...

— Ну ты же плачешь, ах негодяй...

— Замолчи, мама, это не он...

Голоса удаляются, женщины закрываются в дальней комнате.

— Финита ля комедия,—говорю я и сильно бью по перилам. Металлические конструкции балкона отвечают громовым голосом. На балкон выбегает встревоженная жена.

— Боже мой, что случилось?

— Конец комедии,—повторяю я и снова опускаю кулак на перила.

— Какой комедии? Соседи вокруг спят, а ты хулиганить вздумал, как мальчишка...

Она уходит.

Мальчишка... Нет, впрочем, я отдал бы все на свете, чтобы снова стать мальчишкой. К моему великому огорчению колесо времени в обратную сторону не совершает круга.

* * *

Утро было такое же мрачное, как и мои мысли... Опустошенный после ночных объяснений, я бездумно отдаюсь могучему потоку людской реки.

Поднимаю голову, боже мой, куда меня занесло... Знакомый дом, знакомые окна... Самой судьбе было угодно, чтобы я пристал сегодня к этой пристани.

Поднимаюсь на четвертый этаж, долго гляжу на кнопку звонка... Нажимаю...

— Кто?—спрашивает она из глубины квартиры.

Только высокоинтеллектуальные личности могут позволить себе задать такой вопрос.

— Слон,—я решаю не уступать в демонстрации высокой культуры.

— Какой еще слон?—голос уже ближе.

— Африканский.

Дверь осторожно приоткрывается.

— Боже мой, что за детские шутки, входи быстрее, я не одета.

Она в легкой прозрачной комбинации багрового цвета. Закрываю глаза и встряхиваю головой...

— Что с тобой?—она тревожно глядит на меня.

— Голова закружилась... от цвета комбинации.

Она тихо смеется.

— Я спрашиваю, что-нибудь случилось? Вид у тебя потерянный.

— Капитолина, кого я могу потерять? Зашел проведать.

Не буду же я ей говорить, что у меня на голове растут рога-невидимки. Да к тому же женщине, которая меня так долго ждет.

— Что тебе приготовить, чай или кофе?

— Стакан холодного молока.

— Может, выпьешь рюмочку?

— Только молока.

Зудит телевизор, на экране Тудор рубится с врагами. Были когда-то мужественные люди, шли на смерть за идеи, вѣли за собой массы...

— Тебе не жарко? Разденься...—доносится из кухни.

Почему мне должно быть жарко, не пойму, вон кому жарко—Тудору.

Она приносит молоко в большой керамической кружке и спокойно так, словно между прочим, говорит:

— Я постелила в спальне.

Холодные простыни ласкают тело, холодные простыни—моя страсть. Потом она гладит мне грудь ладонью и говорит:

— Что это тебя привело ко мне?

— Твой голос.

— Невероятно,—смеется она.

— Доброта меня окончательно погубит,—говорю я...

Я выхожу на улицу, и поредевший людской поток подхватывает меня и уносит от пристани, которая еще несколько часов назад казалась мне спасительной. Ну надо же было случиться такому. Просто-напросто я искал какого-то выхода...

* * *

Ужасно томительно и медленно проходит рабочий день. Ребята чувствуют, что в душе моей воют волки и сидят тихо. Ребята все чувствуют, это живые барометры времени. Выхожу из школы выжатый, как лимон.

Вот и мой сквер, вернее сквер, по которому когда-то я любил гулять.



Моя заветная скамейка. Пытаюсь пройти мимо нее незамеченным, но меня уже окликают.

— Товарищ учитель, просим к вашему шалашу.

Лучше бы шалаша не было, точно знаю, что начнется обычное зубоскальство.

— Можете начать цирковое представление,—говорю я, присаживаясь на скамейку.

— Представления не будет,—говорит Альберт,—и только потому, что нас мучит жажда.

— Удивительно, что вы сегодня не пили. Чем объяснить?

— Думаешь, очень уж хочется?—смеется Альберт.—Просто надо. Пиво, понимаешь как-то сближает.

Рядом сидят врач, художник, педагог, студент, инженер... Одним словом, интеллектуалы и потенциальные интеллектуалы, но мне так тоскливо бывает от их интеллекта, что я стараюсь редко попадаться им на глаза.

Альберт осторожно берет меня под руку, поднимает со скамейки и необычайно проникновенно произносит:

— Я хочу с тобой посоветоваться, только между нами... Понимаешь, я познакомился с девчонкой, нравится она мне...

— Ну и...

Альберту тридцать три года, а вопрос о женитьбе остро, необычайно остро встал перед ним только совсем недавно.

— Да понимаешь, совсем молода, на третьем курсе учится... Как ты посоветуешь?..

— Мой совет для тебя, что облако для ветра,—говорю я ему, а на душе становится скверно как-то. Дрожь пронизывает тело, Альберт вскидывает на меня удивленный взгляд:

— Ты что дрожишь, не болен, случайно?

— Болен, болен и давно.

— Болен! Чем?

— Есть такая болезнь—гнилая чувствительность. А совет мой—нравится, женись и дело с концом.

— Но разница в возрасте, понимаешь...

— Не женись.

— Нравится, понимаешь...

— Женись...

— И боязно как-то...

— Не женись...

— Что ты заладил «женись—не женись».

— А что ты хочешь от меня услышать? Я не врач и рецептов не выдаю. Если чувствуешь в себе силу и молодость—разница эта—бумажный тигр. Женись и радуйся жизни.

— Ты серьезно?

— Не шучу, конечно. И не тяни долго.

— Послушай, ты почему не заглянешь ко мне на урок физкультуры,—подходит Валерик и тянет за собой.

Мне хочется крикнуть: не обращайтесь ко мне с глупыми вопросами и предложениями, у меня у самого раскалывается голова, как переспелый гранат, я—легкая бездумная тучка, плывущая по небу, взирающая на землю, но и меня грызет вопрос: любила ли она тебя, любила ли... И я не знаю, что ответить, и ватные губы беззвучно говорят: не знаю, что ответить. Любила ли... Хотела... Да, хотела выйти замуж, потому что сроки все вышли, а сидеть в старых девах несладко. Муж, каким бы он ни был, есть мужчина, свой угол—это свой угол, а чувства... их можно и не изведать, почему бы и нет, разве это так трудно... Я хочу покоя и умиротворения... Когда же, наконец, я отупею и окунусь в трясину бездумия. Станный человек...

Кто же меня так назвал? Ах, да, Лупарь как-то изрекла в учительской: «Трудно понять, чего хочет этот странный человек. Шерше ля фам, и все станет на свои места». «Зачем мне искать женщину, когда рядом есть вы»,—сказал я с ехидцей и грубо окинул ее брезгливым взглядом. Поступил я, конечно, глупо, ужасно глупо. Вообще она, конечно, права: странный я человек, признаю.

* * *

— Вы подумайте только, в чем он меня обвиняет... Какая наглость... мы стали забывать моральный кодекс, ожесточились, готовы съесть друг друга...

— Осторожней, Мария Петровна, следите за ходом своей мысли и речью,—спокойно, с иронической улыбкой на губах урезонивает директор школы Анна Мироновна, или как ее называют ребята «бабуля Мирониха».

Мария Петровна, бледная, худосочная женщина, внезапно умолкает, будто натывается на что-то твердое, непробиваемое, потом тихо, с какой-то отчужденностью произносит:

— Ему ли учить наших детей, ему ли...

Она всхлипывает и тут начинается несусветное. Всемирный потоп, по-моему, не был так обилен водой. Она рыдает, слезы текут по щекам, и истошно выкрикивает дикие слова:

— Нахал, какая я взяточница, я на него в суд подам, грязный человек...

— Хватит, садитесь,—строго велит бабуля Мирониха.

Это обо мне, нахал и грязный человек. И стал таковым потому, что мне не нравится, когда учитель ждет и принимает подарочки. Я никак не могу смириться с подобными страстями, которые порочат честь учителя. Неужели у Марии Петровны нет тридцати рублей, чтобы самой приобрести такую красивую вещицу и чувствовать настоящую радость от покупки. Эх, Мария Петровна, Мария Петровна... почему вы не хотите понять, что в сумятице и в сутолоке нашей жизни самое главное—сберечь чистое имя. Ведь это собрание проводится не для того, чтобы вас очернить, а помочь вам осознать свою ошибку.

Я пишу записочку председателю собрания и поняв кивок как разрешение, выхожу из учительской. К горлу подступает тошнота. Ничто ко мне так крепко навечно не прилипало, как мигрень. Вслед за мной выходит Лупарь и сочувственно спрашивает:

— Опять голова... бедненький... Пойдемте, я дам вам таблетку.

В медпункте прохладно и чисто. Я глотаю какую-то дрянь, запивая водой и валюсь на кушетку.

— Ложитесь удобней, не стесняйтесь...

Не в силах переплавить ее взгляд, закрываю глаза, она что-то ласково-монотонно говорит, потом мне кажется, что это не человеческая речь, а журчание ручейка, которое меня убаюкивает и я проваливаюсь в царство Морфея.

Просыпаюсь внезапно. Мне значительно лучше. Лупарь стоит у окна, спиной ко мне. Заслышав, как я шевельнулся, она оборачивается и говорит:

— Анна Мироновна просила зайти.

Я вхожу в кабинет директора, присаживаюсь на краешке дивана и тихо говорю:

— Вы меня извините, Анна Мироновна, сил не хватило досидеть...

Бабуля Мирониха смотрит на меня добрыми глазами и говорит:

— Что, здоровье подводит? Рановато...

— Как там Мария Петровна?

— Да как ты хотел. Решаем вопрос о ее пребывании в школе. С ней-то все ясно.

Она не договаривает и умолкает.

— А чья судьба волнует еще коллектив?—спрашиваю, а сам уже знаю, что она ответит. Так и есть.

— Твоя, мальчик,—говорит она. Мальчик, это она, как к сыну, обращается ко мне.

— Моя судьба чиста, как стеклышко, Мирониха...—Я умол-

каю и виновато гляжу на нее: надо же, вырвалось незаметно, не поймашь и в уста уже не втолкнешь.

Она широко улыбается, кивает головой, мол, знаю свою кличку, знаю, а потом говорит:

— А стеклышко-то разбилось.

Да так произносит, что мне становится жалко себя, и, честное слово, хочется приложить к глазам ее добрые руки.

— Что ж делать,—говорю я хрипло, а в горле что-то сдавило,—буду собирать и склеивать.

— Как же так случилось?

— Не знаю, как. Вы помните его, он сидел за нами, через парту, такой чистенький, аккуратный, ее школьная любовь. Наверное, на самом деле лучше меня...

— Мальчик, нельзя делить людей на лучших и худших. Есть хорошие и плохие. А вы оба были хорошими. Может, ты где-то дал промашку...

— Может,—соглашаюсь я.—Человек чего только не может.

— Как же ты теперь живешь?

— Недурно, снял комнату, перенес книги и одежду и живу.

— Ты хоть квартиру бы поделил, разменяли бы, что ли...

— К чему мне она?... Мышиная возня... осточертело все... Уеду я, Мирониха, наверное, доведу класс до конца, и уеду.

— Куда ты уедешь?... Здесь, в школе, вся твоя жизнь, я вижу, как ты любишь детей, а они к тебе так и тянутся... Неужели тебя ничто здесь не удерживает...

Ничто... Если б сказала—никто, я б ответил: да, удерживает, Самарина. Но трещина в жизни—ох как она чувствительна, и пока зарастет и затянется—много воды утечет.

Чудесный человек бабуля Мирониха, не будь таких—скудной и серой была бы наша жизнь.

* * *

На улице, у входа в школу, стоят Кеша и Светлана, или Бельчонок, как ее прозвали ребята. Удивительное поколение, каждому живому существу дают прозвище. Он что-то горячо и убежденно излагает ей, в каждой руке по портфелю, она, заложив руки за спину, склонила голову набок и мило так слушает. Прелестная девочка, ради такой можно в кругосветное путешествие отправиться, одиночное, назло акулам и кашалотам, и побить все рекорды Френсиса Чичестера.

Завидев меня, они подходят, и Кеша, держа портфели за спиной, говорит:

— Приходите к нам на репетицию, пожалуйста...

Боже ж ты мой, до репетиции ли мне.

— А что вы запускаете?

Бельчонок заливается-смеется.

— «Моцарта и Сальери»,—говорит Кеша.

Это к пушкинскому юбилею. Честное слово, мне иногда начинает казаться, что мои ребята все могут, заикнись только—и космический корабль сконструируют, и старика Хоттабыча изобретут.

— Хорошо, обязательно приду,—говорю я и собираюсь трогаться с места, но меня останавливает звонкий, чистый голос Бельчонка.

— Моя бабушка... моя бабушка переехала к нам... и ее квартира свободна...

— Это прекрасно. Теперь тебе с сестричками будет намного легче...

Внезапно до меня доходит смысл последней фразы и я осекаюсь. Квартира свободна... Значит, ребята знают о моих делах и пытаются мне в чем-то помочь. Мои ребята, ничто от них не ускользнуло...

— Обязательно приду... на репетицию,—глухо выталкиваю из горла слова.—Обязательно... До свидания.

Мне грустно, и я торопливо ухожу, чтобы не слышать ребят, которые своей добротой растрогали меня.

* * *

Чего я достиг за свою трудовую жизнь? Что я нашел, кого приобрел или потерял? Куда несет меня этот стремительный поток жизни, отрывая, отбивая, откалывая от меня друзей, близких мне людей; но ведь если это происходит, значит связка, соединяющая нас, была слаба, или может ее вообще не было... Как еще можно проверить на прочность... Пасмурно у меня на душе, тоскливо, потому и разные мысли съедают меня. Сажу в парке, вокруг—улыбки, смех, жизнь бьет ключом, как говорят оптимисты, а мне так скверно, хоть волком вой. Долгие годы меня ждала женщина, к которой я заглядывал всего на несколько часов... А в течение одной недели, всего-то за семь дней знакомства с мужчиной, вышла замуж за него. Подумать страшно, какая сумасшедшая скорость. Наверное, я где-то отстал в своем развитии и стал незаметной и тяжелой деталью анахронизма.

— Здравствуйте, отдыхаете в одиночестве?

Передо мной стоит улыбающаяся Лупарь, мне кажется, единственный человек, кому я интересен.

— Отдыхал в одиночестве,—уточняю я,—теперь будем вдвоем.

— Остроумно,—смеется она, присаживаясь рядом.

— По-моему, я всегда блистал остроумием, вы просто не замечали.

— Что вы говорите?—Она смотрит на меня, прищурив глаза.

— И вообще, я порядочный человек, можно мною заняться.

— Что с вами?—говорит она тихо.

— Хочу, чтобы на меня обратили внимание. Я ведь мужчина, и мне скоро тридцать лет, и я не лишен положительных качеств, и у меня бывают желания...

— Не паясничайте, пожалуйста.

— Хорошо, не буду,—соглашаюсь я и умолкаю. В самом деле, в чем виновата Лупарь, если мне не удалась личная жизнь.

— Я знаю, вы любите Самарину,—произносит она, а я неизвестно отчего покрываюсь испариной.—Но она вам не пара, поверьте мне. Вы золотой человек, внимательный, добрый, сердобольный, вам нужна другая женщина, мягкая, ласковая, понимающая вас... А у нее скверный характер,—излагает Лупарь свою позицию,—она—человек настроения. Иногда так может нагрубить, ой, ой, ой...

— Знаю,—говорю я, чтобы положить конец ее определениям характера Самариной.

— Нет, вы не все знаете,—вкрадчиво шепчет она,—у нее есть друг, первая любовь, он часто приезжает к ней...

Опять первая любовь, черт бы ее побрал...

— Знаете, товарищ Лупарь, идите домой,—говорю я сдержанно так, а в груди сотни волков воют и кровь клокочет.

— Вы меня... гоните?

— Что вы, что вы, просто хочу, чтобы вы отдохнули, пожалуйста... Я прошу вас...

* * *

...— Пушкин, если выразиться образно, это звезда первой величины в небе. А ведь рядом с ним тысячи других звезд, которых мы не знаем. Но они светят, а значит, мы должны их знать. Вот недавно Кеша читал рубаи Омара Хайяма... Попробуйте представить себе двенадцатый век, век мракобесия и ханжества, когда силой подавлялось свободомыслие и народ держали во мраке религиозных представлений... И вдруг стихи, философские стихи, призывающие к свободе, правде, любви. А вот четырнадцатый век дал миру такого поэта и философа, как Имадеддин Насими...

Звонок на перемену. Никто не шелохнется.

— Вы хотите, чтобы я рассказал о нем?

— Да,—хором отвечает класс.

...— Имя Насими стоит в одном ряду с теми, кто не только создавал неувядаемые образцы большой поэзии, но и героически боролся за раскрепощение человеческого разума от оков религиозных догматов и социально-политической реакции.

Насими считал человека творцом мира, для него человек—это бог. Поэзия Насими охватывает многие стороны духовной жизни личности, являясь гимном человеческому разуму. В его лирических стихах воспеты тончайшие человеческие чувства.

Звонок на урок, входит Самарина, удивленно смотрит на притихший, притаившийся класс, присаживается у окна и кивает головой—продолжайте, мол.

— «Свою поэзию Насими возвысил и прославил, как крупнейший и талантливейший создатель прекрасных произведений на азербайджанском языке. Он широко прославился как носитель передовых по тому времени, истинно гуманистических идей, своим жизнелюбием и свободомыслием». Эти слова принадлежат Николаю Тихонову.

Я смотрю на ребят, внимательно слушающую Самарину, и тихо читаю:

Что, Человек, с тобой на свете б,
ни случилось.

Все: небо и земля в твой дух и
ум вместилось,

Ты, словно бог, един, ты властелин земли,
Ты—истина, ты—свет, ты—бог и божья милость.

Кеша что-то быстро записывает в тетрадку.

С водою прах смешал великий бог
И сотворил из глины свой чертог.
Аллах Любовь с Любимой и с Любимым
Соединил и в мире уберег.

Самарина поднимает голову и внимательно смотрит на меня. Не знаю, о чем она думает, но следующее рубай я мысленно обращаю ей.

Я от любви к тебе весь век терпел мученья.
Я землю обошел, искал я утешенья.

И понял лишь теперь, что я не там искал,
Что, кроме губ твоих, иного нет леченья.

— Стихи Насими, запрещенные мракобесами, служителями религии, распространялись по всему Востоку его учениками, их читал заповсем бедный люд. Насими искали. Однажды на площади, в окружении толпы, он увидел готовящуюся казнь.—Кого лишают жизни?—спросил он.—Насими.—ответил ему. На помосте в разодранном платье стоял его ученик. Насими подошел к правителю и обратился к нему:

— Ты отпустишь его, если обнаружишь настоящего Насими? Удивленный правитель поднял глаза.

— Я Насими, он самозванец,—вскричал ученик в ужасе за судьбу поэта.

Насими повторил вопрос.

— Как я могу узнать, что ты настоящий Насими?—спросил правитель.

И тут из толпы вышел предатель:

— Он Насими, он настоящий Насими, о мой повелитель.

Смерть Насими была страшна. Под палящим солнцем его распяли и содрали с него кожу. На эту страшную казнь смотрели из толпы с ужасом и криком в глазах женщина и юноша.

— Мама, кто этот несчастный?—спросил он шепотом.

— Твой отец,—прошептала она и потеряла сознание.

Я выхожу из класса. Мертвая тишина. Каково после литературы преподносить ребятам химию. По-моему, нелегко.

* *

На улице сталкиваюсь с женщиной, которая носит красивое имя—Капитолина.

Она подхватывает меня под руку и говорит добрым голосом:

— Как долго я тебя не видела. Куда ты запропастился, скажи, пожалуйста?

— Ты вышла замуж и моя тропа заросла бурьяном,—говорю я тихо.

— Что с того? Какая проза... Мы остаемся хорошими друзьями.

Идем под руку, мило воркуя, и вдруг замечаю, что подходим к ее дому. Она ловит мой настороженный взгляд и заливается веселым смехом, и вдруг мне становится как-то легко и бесшабашно.

— Его уже месяц нет дома,—говорит она, увлекая меня к подъезду.—Впрочем, приедет, я вас познакомлю. Интересная

личность. Настоящий морской волк,—говорит она с гордостью и любовью.

— Старпом с большого корабля,—вторю ей браво.

— Точно. Как ты узнал?

— Мы старые знакомые,—говорю уверенно.

Она глядит на меня во все глаза.

— Да-а-а...

— Точно. Нас познакомил Лондон.

— Какой еще Лондон?

— Джек.

— Боже мой, ну и шутики...

В квартире заметны значительные изменения. На серванте лежат более десятка курительных трубок и морские раковины различных причудливых форм, рядом в изящной золоченой рамке портрет морского волка. Нет, на самом деле интересный, волевой мужчина. Приблизительный тип Хемингуэя.

Она вносит на подносе чашечки с кофе, достает из бара бутылку коньяка, рюмки, а я продолжаю глядеть на портрет, потом со вздохом говорю:

— Хороший мужик, стоящий.

— Этот?—Она разливает коньяк,—что и говорить, настоящий мужчина. На то и Хемингуэй.

Я закрываю лицо руками, чтобы заглушить прорывающийся смех, и мычу:

— Как Хемингуэй?

— Муж срисовал с портрета. А сам он за спиной у тебя.

Оборачиваюсь, на журнальном столике портрет морского офицера. Красив, ничего не скажешь.

— И долго бывает в плавании?—спрашиваю просто, без каких-либо задних мыслей, а она бросает на меня лукавый взгляд и со вздохом произносит:

— Довольно долго заставляет скучать.

Она уютно садится рядом и говорит:

— А ты дикая собака Динго...

— Хо... ро... шее сравнение,—говорю я.

— Она мечется в прериях Австралии в поисках добычи,—мечтательно, томным голосом говорит она.

Что мечусь—верно, думаю я. Мечусь, как неприкаянный... Она кладет голову мне на плечо и устало произносит:

— Ты останешься у меня сегодня?

* * *

В школе, после первого урока, меня приглашает директор. Вхожу в кабинет, присаживаюсь на подоконник, на улице

благодать, весна, люди радостные, а здесь строгая и деловая атмосфера, и так все это давит на нервную систему, что становится уныло на душе. Как прекрасно, наверное, сейчас на островах Самоа, все цветет, благоухает, поет, сверкает сказочными цветами. Самоа—мечта моего детства. Ну какое может быть хоть мизерное сходство между Самоа и кабинетом директора.

— Садись, у меня с тобой разговор долгий,—слышу голос Анны Мироновны сквозь гул океанского прибоя.—Я решила рекомендовать тебя на должность директора школы?

Не понимаю, при чем тут должность директора школы, когда я мечтаю о Самоа, тихой лагуне и прибое, разбивающемся о коралловые рифы. Наконец до меня доходит смысл начатого разговора.

— Анна Мироновна, помилуйте, я никогда не думал о карьере...

— Знаю, поэтому и ценю,—перебивает она.

— Нельзя только по этому ценить. Вы же не знаете всего моего комплекса.

Она вдруг заливается таким искренним и долгим смехом, что я умолкаю и сам начинаю улыбаться. Надо же ляпнуть, комплекс, какой у меня может быть комплекс и к чему он, ей, Мироных. Наконец она затихает, вытирает слезы и шепчет:

— Уморил совсем.

— Анна Мироновна, я еще не знаю, останусь ли я в школе,—говорю тихо.

— Как тебя понимать?—она настораживается.

— Хочу уехать отсюда... Совсем запутался.

— Уехать,—говорит она вдруг таким теплым голосом, словно мать.—Ты думаешь, так легко подняться с насиженного места и уехать, и заново строить жизнь, и находить друзей. Мальчик, бывают мечты и бывают грезы, нельзя их путать.

— Я должен уехать.

— А я твою кандидатуру не снимаю. Мне надо готовиться к пенсии, Умалат, отслужила свое... А теперь перейдем от сентиментов к реальности. Твои любимчики, Кеша и Бельчонок, целовались, ты знаешь об этом? И где? В коридоре.

Она умолкает и ждет моего ответа. Конечно, она хочет, чтобы я осудил их проступок и обещал провести с ними разъяснительную работу. Но за что? За то, что мальчик, точнее без пяти минут юноша поцеловал искренне девушку, своего друга.

— Может быть, в том поцелуе была благодарность, может в осторожном прикосновении он выразил свои чувства, переполнявшие его. Мы с вами ведь не знаем, чем был вызван этот «крамольный» поцелуй.

— Боже, ты развил целую философскую концепцию о поцелуе,—говорит Мирониха строго, а глаза ее тихо так улыбаются.

— Анна Мироновна, мы ведь не ханжи... Что может быть чище и красивее первой любви. Мы должны бережно относиться к ней, если хотите знать—даже лелеять. Без нее жизнь была бы мрачна. Я ничуть не удивлюсь, если они в один прекрасный день женятся и станут мужем и женой. Все приходит к этому, ну а они пришли раньше, потому что нашли друг друга и не могут жить врозь. Я бы желал всем такой любви.

— Первая любовь—она каверзна и чревата...—она не договаривает, но я улавливаю ее мысль и ничуть не обижаюсь.

— Совершенно верно, потому-то надо ее беречь, а не разбивать кувалдой стародедовских взглядов.

— Как же ты думаешь с ними поступить?

— Никак, пусть целуются на здоровье. Скажу, чтобы только не в школе.

— Ты поговорил бы с ними.

— Поговорю. А я бы на вашем месте доносчикам и сплетникам закрыл рот.

— Не беспокойся, Умалат,—она смеется.—Я профилактику провела серьезную, да вот тебя не могу убедить.

А что меня убеждать. Я ребят своих знаю и в обиду не дам. Не хватало еще разбивать их дружбу в угоду каким-то ограниченным людям.



Мои ребята пишут сочинение на свободную тему. Любопытно, как я себя вел в их возрасте, точнее, каково было мое состояние тысячу лет назад, когда я так же сидел за партой. Стараюсь перенестись в те далекие беззаботные годы, увы, ничего не получается. То застреваю на полпути, то останавливает пелена тумана, а то просто бело-серая вязкая стена не дает лететь дальше моему воображению. А вообще я любил писать всякие сочинения: выдумывал всякую несусветь—воображение у меня и сейчас еще богатое.

Ребята пишут сочинения. Я прохожу по рядам, останавливаясь рядом с Кешей, бросаю взгляд на убористый почерк. «Люди должны быть добры друг другу, а добры они станут в том случае, когда научатся любить, любить все живое по-настоящему, глубоко, преданно, когда не будет места для ненависти и зла...»

Что и говорить, светлая голова, я в этом мальчишке всегда был уверен. Чувствую, он еще не то насочиняет, а мне придется отстаивать не только оценку, но и его мысли. Беда с вольнодумцами, просто беда.

Вот еще один вольнодумец, Страхов. Какие только гениальные прожекты не рождаются в его голове. То он выдвигает идею упразднения всех магазинов по продаже спиртных напитков, то прогнозирует слив всех вино-водочных продуктов в искусственный водоем, где можно потом заспиртовывать неугодных ему людей, а однажды даже приступил к вычислениям, во сколько обойдется вывоз пьяниц и алкоголиков на планету другой солнечной системы. И все потому только, что отец его выпивоха. А вообще-то мальчишка всесторонне развит, и мне кажется, будет прекрасным музыкантом. Помню, как на школьном вечере он играл на фортепиано: для него никого и ничего не существовало, он был поглощен музыкой.

Вот Пупин—это экземпляр. Для него что учеба, что неучеба—один дьявол. Но мальчик спокойный. И что удивительно—добрый. Пусть растет человеком, а специальность какую-нибудь себе найдет.

А вообще ребята у меня хорошие, и, мне кажется, уважают меня.

* * *

Я выхожу из школы с Самариной. Легко мне с ней рядом. И спокойно. Для меня не существует ни улицы, ни мира, ни солнца—я и она, и ничего больше. Сказать, что это любовь—слишком громко. Просто у меня появилась потребность видеть ее ежедневно, более того—постоянно видеть рядом.

— Почему вы не зайдете в гости?—говорю я осторожно Самариной.

— А зачем?—говорит она и обращает ко мне темные строгие глаза.

— Вы меня не так поняли,—говорю извиняющимся голосом.—Зашли бы с подругой...

— Что вы нам Америку откроете?—перебивает она.

— Америку, верно, не открою.—Ну надо же так выразиться, понимай, как хочешь,—Америку, не открою,—повторяю снова,—могу открыть только дверь.

— Вот видите?—она смеется.—Зачем же утруждать себя.

Объясните. И все-таки мне удивительно хорошо с ней рядом, а раздражительность просто внешнее проявление.

— Когда-нибудь зайдем,—говорит Самарина и губы ее улыбаются. Только губы.

— Буду питать надежду,—говорю, ободренный.

— Надежду юноши питают, а вы уже приближаетесь к старикам.

Она смеется, да так, что у меня по спине мурашки бегают.

Иду с ней рядом, предаюсь мечте и воображению и представляю, как будем жить вместе, если, конечно, она этого захочет. И получается-таки хорошо. Честное слово, ну словно я всю жизнь искал этого человека и никого не знал, кроме нее. Чудесно получается: мир, согласие и любовь между нами, свадебное путешествие в Океанию, вокруг синь неба, зеркальная вода, живописные острова, тихие лагуны и беззаботные сны на циночках под высоченными пальмами... И мирные туземцы вокруг нас, стройные, самоанки с темными горящими глазами, длинными упругими ногами...

— До свидания, мне в эту сторону,—картина рвется на самом интересном месте.

— Я провожу.

— Зачем? Я не боюсь. До свидания.

Мне кажется, она обернется, хоть на долю секунды, мне хочется этого, но куда там. Словно я и не шел с ней в течение двадцати минут, будто меня вообще не существует.

* * *

Бирюзовое утро. Просто зависть берет, почему моя жизнь не такая прозрачная, ясная и легкая, как окружающая меня среда. Бирюзовое небо, бирюзовое море, бирюзовые глаза вокруг... Вон, в сотне метров от меня под грибком сидит Лупарь с неким молодым человеком и над чем-то весело, залиvisto смеется. Не знаю, видит ли она меня, а если увидит—будет ли так заливать-ся. Впрочем, почему не должна, это ее личное дело, как смеяться, с кем сидеть, на какие темы вести милые беседы под горячим солнцем. И все-таки от ее смеха меня пот прошибает: какой-то он неестественный. Встать, что ли, мне, пройтись этакой независимой походочной по пляжу, мимо нее, не замечая, конечно, как она себя поведет. Ох, женщины... Они меня наводят на раздумья.

— Броская женщина,—слышу голос над собой.

Приподнимаю голову, рядом раздеваются знакомые борцы. Мускулистые, крепкие, ладные, можно сказать—настоящая гордость наша.

— Ты знаешь броскую женщину?—спрашиваю я.

Словоохотливый знаток достоинств Лупарь хмыкает, потом загадочно улыбается.

— Как-то довелось в одной компании. С ней еще подруга была, черненькая такая. Женщины—блеск...

Словно обухом ударило меня по голове. Перед глазами плывут темные круги. Одно спасение, что я сижу, иначе рухнул бы на песок. Тяжело, медленно прихожу в себя, и каким-то хриплым неестественным голосом спрашиваю:

— Черненькая? Кто она?

— Подружка ее... Лидя, Самарова... не то Самарская...

Я больше не хочу слушать, встаю и направляюсь к воде, в ногах почему-то появляется слабость, еле держат меня, и руки дрожат. Чуждое состояние, словно из меня выжали всю силу, конечности подкашиваются и слабость в груди умопомрачительная. Надо же до такого состояния дойти. Я сажусь на песок у самой кромки воды, пытаюсь отвлечь себя от разрушительных дум, потом встаю и иду в море. Непонятно, с чего вдруг такой накат, ни ветра, ни колебаний почвы, ни вулканического извержения, а волны вон какие бухают, как многотонные глыбы.

Я ныряю под волну, другую, третью... дальше от берега море спокойней, ложусь на спину, вокруг удивительный бирюзовый простор, такая красота, что душе больно, а жить не хочется. Тоскливо мне, и мир стал пустым, за какие-то несколько минут. Хоть бы акула что ли на меня напала, или спрут схватил своими смертельными щупальцами, но в нашем море не водится ни та ни другая мерзость.

Я плыву к берегу, весь во власти дурацких дум, не замечаю, как за мной, тайком, скрытно, накапливает силы волна. Вдруг она обрушивается на меня, перекручивает и несет, я сильно бью ногами и руками, хватаю ртом воздух, но вместе с воздухом врывается соленая вода, и снова волна обрушивается на меня и тащит стремительно куда-то. Куда? Я отдаюсь во власть стихии, открываю произвольно рот, и вода, горько-соленая, невкусная вода силой вливается в меня. Я делаю сумасшедшие судорожные глотки, в памяти в доли секунды проносится вся жизнь. Родители, школа, институт, мой класс, Лупарь, Самарина, и снова родители, глаза Мироники... Ее глаза, взгляд заставляют меня закрыть рот, в каком-то тумане я делаю несколько взмахов, волна выбрасывает меня на песок, откуда-то находятся силы, я встаю на колени, меня снова накрывает волна, но я успеваю вздохнуть спасительный воздух, и, когда вода откатывается, поднимаюсь и, шатаясь, бреду вперед. Какой стыд... И умереть нельзя. Черт знает, что происходит со мной.

Я осторожно ступаю по песку, ноги подкашиваются, кажется, все смотрят на меня. Украдкой поднимаю глаза—никому до меня дела нет. Ну и дьявол с ними. Если им нет дела до меня, то у меня есть до Самариной.

* * *

Не понимаю, что происходит со мной. Вхожу в телефонную будку, набираю номер, по которому еще ни разу в своей жизни

не звонил, и слышу ее голос. Первым 'долгом' я прошу у нее прощения за беспокойство, откровенно говоря, мне неловко как-то звонить, потом завожу речь о том, какими должны быть настоящие друзья и подруги, как много они значат в нашей быстротечной и суматошной жизни. Она никак не может уловить нити поднятой мной темы, и приходится уже вести с ней разговор в открытую. Она удивлена, и ничуть не хочет верить, что сплетни о ней исходят от подруги, самого близкого человека. Потом она допытывается, какие о ней еще рассказы ходят, но я не говорю, к чему, думаю, причинять ей боль. Она распаляется и обвиняет вдруг меня в том, что я не пресекаю сплетни. Но я-то в чем виноват. Я пытаюсь ее успокоить, вспоминаю вдруг меткие народные: пословицы, да какие... «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу кто ты», «С кем поведешься, от того и наберешься» и массу других. Она долго молчит, потом резко спрашивает, какого я о ней мнения после всего услышанного, не дожидаясь ответа режет—«а мне плевать» и выплескивает свой гнев на меня. Да какой гнев, сколько в ней злости. Она распалена, она обвиняет меня в том, что выслушиваю всякие бредни, развесив уши, что я лишен своего мнения и никогда не постою за честь друга и так далее, и тому подобное. Бестолковая, говорю я про себя, я же люблю тебя, иначе какое мне дело до твоей репутации, до твоей чести. Бестолковая... И вдруг холодею. Она молчит, потом спокойно, но грубо, жестко говорит: «Что же ты звонишь бестолковой...» Я произнес это слово, произнес вслух, в трубку, прошу простить меня, но она обрывает:

«Все? С бестолковой нечего говорить. Идите... Гуляйте». Я сбит, опрокинут, нет, не то.

На меня обрушивается тишина. Я глохну от нее.

«Идите... гуляйте...» Подумаешь, красавица. Мнит из себя. черт знает что. Чем она обладает? Тонкими манерами, интеллектом, стройными ногами, изящной фигурой, чувственными губами? И тут я ловлю себя на том, что ищу в ней недостатки. Теряя близкого или любимого, мы ищем или стараемся найти в нем недостатки, чтобы оправдать хоть как-то свою потерю.

Ничего, переживем и это, успокаиваю я себя осторожно, не принимай все близко к сердцу, погляди-ка, у тебя в висках появилось серебро и у глаз залегли морщины. Глупости, разве это страхи. Морщины от смеха, а серебро от лунного света. Право же, жизнь недурно устроена, и все зависит от того, как оседлаешь ее.

Через пять минут поезд отойдет от перрона. Еще пять минут... И я уеду к приятелю, посмотреть на стройку века. Уж очень она заманчива. Заманчива и притягательна. Мне кажется, что жизнь обходит меня, поглядывает с прищуром, с усмешкой, и обходит. Двадцать семь лет... как бесшумно опали двадцать семь моих листьев. Только горькие воспоминания запеклись в сердце...

Мне надо ехать... Может быть, я поставлю на пройденном пути точку и начну новый?

Трудно начать новое предложение, новое стихотворение, необходимо вдохновение. Придет ли оно ко мне? Должно прийти, назло всем неудачам и невзгодам.

Поезд отходит от перрона. Уже колеса монотонно стучат на стыках рельсов, а я не могу отвести глаз от уходящих огней города. Колеса стучат, стучат.

Почему я такой неудачник?—думаю я. Может, гены ко мне перешли от родителей неудачные, нежелательные? Детство мое было безоблачное, веселое, родители—великие труженики. Отец всю свою сознательную жизнь работал токарем, был уважаемым на заводе человеком, кончил вуз, стал мастером цеха. Может, в личной жизни у него были какие-то отступления от установившихся нравственных принципов? Нет же. Мама работала учительницей и была, как стеклышко, чиста. Я у них был поздним и желанным ребенком. Сейчас отцу исполнилось бы семьдесят, а маме шестьдесят пять... Они оставили на земле свое дерево, свое продолжение. Но в кого же я уродился таким невезучим? Может, мне не хватает рассудительности, а мое желание и стремление к самоусовершенствованию мира выглядит юношеским максимализмом? Черт бы побрал меня за эти вопросы, которые гнетут и утомляют мозг.

Колеса стучат, нашептывая лермонтовские строки:

В моей душе, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Надежд разбитых груз лежит.
Надежд разбитых груз лежит...

Довольно падать духом, говорю я себе, выше голову, шире плечи, меня ждет жизнь... И я кричу во все горло, неистово, хотя никто не слышит моего крика, кричу так, что душу распирает от боли.

— Жизнь, я люблю тебя! Я жду твоего расположения...

А колеса стучат на стыках рельсов, колеса стучат и стучат...

Тетрадь вторая

* * *

Мировые катаклизмы меня обошли стороной. К счастью моему или к огорчению, не знаю.

Но представим, что может появиться возможность для катаклизмов, могу ли я стать участником великих событий и преобразований, я, homo sapiens, плоть от плоти такой же, как и тысячи, миллионы мне подобных? А почему нет, разве я не способен участвовать в преобразовании мира, чувствую ли я апатию к жизни, равнодушие к этой ГЭС, которая встала надо мной, как чудовище из камня и металла?

Боже мой, что за мысли гложут меня в эти минуты, когда я скольжу по озеру. Они постоянно со мной, и они рождают уже другие проблемы, вопросы, ищут решения задач. Целая цепная реакция.

Стоп, говорю я себе, вернись к действительности, к прекрасной действительности. Ведь на самом деле она прекрасна и величественна. Надо мной, на высоте более двухсот метров, между двумя голыми скалами, застыла арочная плотина электростанции. Ее громадная кольчуга удерживает горные потоки воды, умиряет их бег, охлаждает пыл. Голубым зеркалом лежит толща воды по эту сторону железобетонной груды, воздвигнутой людьми.

Подо мной, под тоннами прозрачной воды, на дне озера плывут какие-то строения, заборы... Дрожь пробегает по телу. Это старый аул Чиркей, затопленный Сулаком. Я перевешиваюсь через борт лодки, вглядываюсь. И вижу узкие, тесные улочки, каменные дома, мечеть с минаретом, вот аульская площадь с годеканом. Все сохранилось и покойно лежит, как в аквариуме. Я тихо, осторожно, без всплеска опускаю весла в воду, подо мной уже плывут деревья, бывший колхозный сад. Они крепко росли в землю и стоят на земле, как часовые, часовые скорби, потому что не цвести им больше для людей, не гнуться под тяжестью плодов, не умываться в золоте солнца и не сушиться после дождя на теплом ветру.

Лодка скользит по голубой глади озера и в ее зеркале медленно, бесшумно уплывает старый аул, в котором совсем недавно слышались крики детей, и цвел вишневый сад, наполняя ароматом аул.

Пройдут тысячи лет, и деревья превратятся в каменные исполины, наши далекие потомки, которых сейчас трудно представить себе, обнаружат вдруг на дне горного озера неизвестное

поселение с окаменелой растительностью и станут изучать его происхождение, историю возникновения и гибели...

Я подплываю к причалу, выхожу из лодки, привязываю ее к металлическому стояку и поднимаюсь по аккуратно выложенным ступенькам наверх, к зданию гидроэлектростанции. Преодолев последний гранитный выступ, оглядываюсь. Передо мной, внизу, под толщей горной воды, лежит прошлое, от которого остается только память.

* * *

Кажется, я упомянул о том, что катаклизмы обошли меня стороной. Не так-то было. Они меня задели краешком... Приехал я в свой город после долгой разлуки, но уже в другом амплуа: журналистом.

Правда, долго еще помнил о школе, о детях. Именно они побуждали меня заняться журналистикой. Сколько мыслей и вопросов, которые рождались в их талантливых головах, надо было реализовать во взрослой жизни, на многие ответить. И моя новая профессия—продолжение прежних поисков, мыслей, которые в течение многих лет не давали мне покоя. И вот командировка на ГЭС. На первый взгляд и цель визита кажется незначительной. Директор электростанции решил взорвать и уничтожить оставшийся под водой аул. Подумаешь, скажут иные, пусть взрывает на здоровье. А вот я не хочу, чтобы его взорвали, как не хотят многие. Нельзя, непозволительно уничтожать память. Мы живы, пока она живет с нами и в нас. Без нее человек—робот, машина...

Я сижу в просторном, светлом, по-современному обставленном кабинете. Напротив меня, за массивным столом—мужчина. Тоже массивный. Но особенно впечатляющи у него усы. Черные, как смоль, они расходятся в противоположные стороны длинными заостренными пиками. Ну надо же такое.

Он, очевидно, читает мои мысли и довольная улыбка касается его лица.

— Нравится?

Вопрос поражает меня, как гром среди ясного неба. Что угодно готов был услышать, хотя бы об электростанции, плотине, на худой конец об искусственном озере, а то об усах.

— Значит, не нравится вам мой план?—лицо его становится серьезным.

— Значит, нет. Покатался я по озеру, поразмыслил, подумал о том, что мы с вами оставим детям своим, и не понравился.

— Ну ты посмотри, эх!—воскликает он, несильно хлопнув

ладонью по столу.—Пройдет год, другой и озеро заполнится рыбой. Понимаешь, рыбой, а не чем-то там...

— Ну и разводите ее на здоровье, зачем же для этого аул взрывать и сад?

— Детям надо оставлять то, что пригодится в жизни. А эти мертвые дома, зачем они им? Ну, сдался вам этот затопленный аул. Никому ведь он не нужен, ничему и никому не служит.

— Нам нет, другим послужит.

— Ну и мужик ты... непонятливый.

Куда уж мне, говорю я себе, глядя в его черные глаза. Люди вон какую плотину поставили поперек бурного потока, турбины пустили, море искусственное создали, а он о рыбке думает...

Может, на самом деле он прав, а я не понимаю ничегошеньки в реальной, практической жизни. Живу в романтическом мире, когда-то созданном в моих мыслях и который не подвергается никаким разрушительным силам практицизма.

* * *

Дверь кабинета открывается. На пороге стоит Чуртиков Матвей Павлович.

— Зайди, пожалуйста, ко мне.

И исчезает.

Многих людей видел я за свои годы. Этот—оригинальнее всех. И загадочнее. Так сумел себя поставить в коллективе, что все его уважают, считаются с ним, почитают его. Потому что боятся. Чего боятся—не пойму. Страшный человек, мстительный, не так глянешь—душу вымотает—как только не крестят его. А у Чуртикова за стенами редакции—ни крепкой руки, ни мецената... Просто обладает понемногу качествами мелкого нахала, среднего сноба и матерого вралю. Вот и сумел поставить себя в независимое, вернее, руководящее положение. Впрочем, с теми, кто его знает, он прост и откровенен. Ведь и улитка в минуты благодущия выползает из своего защитного панциря.

— Как дела у вас в отделе?—спрашивает он, не отрываясь от чтения, когда я сажусь на диван.

— Тлеем.

— Да? А что случилось?

— Иначе чего ж вызывать.

— Да?—Он делает удивленное лицо, склонив слегка голову набок.—Веселый ты мужик. Знаешь, я сегодня приобрел целый портфель новых книг. Посмотри, может какая понравится...

Так-таки и даст. Легче к дикому мустангу подползти, чем у Чуртикова книгу выпросить. Значит, тут особое дело.

— Ну как? Французский детектив есть у тебя? Нет? Ну, ну...

А Жорж Сименон? Зарубежный детектив? Что же ты читаешь?
Ах да, поэзию. Ну, ну... Выбирай, какая понравится, презентую.

— Не стоит. Обделю вас.

— Чепуха. Достану. Выбирай.

— Да нет, спасибо.

— Ну, ну, как знаешь.

Жду с нетерпением, знаю, что должно последовать предложение.

— Послушай, оставь ты озеро в покое. Вокруг так много тем, а ты лезешь на скандал. Сегодня модна мораль. Нравственность. И на что тебе дался подводный аул?

— А что вы понимаете под моралью?

Он смотрит на меня, слегка склонив голову на бок. Такой просительный и ясный, просто паинька.

— Не порть ему настроение перед Новым годом. Мужик он хороший, верный, да и не для себя старается.

— Наверное, форели захотелось тоже,—говорю я, глядя в глаза Чуртикову.

— Чего? Какой еще форели?

Лицо его вытягивается, а я встаю и выхожу из кабинета.

* * *

К концу недели, а она была последней неделей года, меня приглашает шеф. Точнее, секретарша. Я вхожу в кабинет — шеф не поднимает головы от стола—не дожидаясь приглашения присаживаюсь за длинный стол.

Шеф продолжает не замечать меня. Любопытная фигура. Со всеми он ладит, всем улыбается, всех старается расположить к себе. Душа-человек. А на самом деле никого не принимает серьезно, почти все для него—серые и временные в редакции люди. Сажу и смотрю на него: долго ли будем испытывать друг друга—кто-кого. Меня это не беспокоит. Может быть на шефа действуют законы телепатии, мелькает в голове мысль. Гляжу на него пристально. А глядеть есть на что: напротив меня крупный и грузный человек. Густые с проседью волосы двумя крыльями, словно опахала, висят над большими ушами. Поллица отдалены широкими стеклами очков. Из-под носа в обе стороны топорщатся усы.

И тут он поднимает голову, делает вид, что только увидел меня и улыбается до ушей.

— Ну как, наш скромный друг, дела?

— Жаловаться грешно. Телега катится.

Он долго пристально глядит в мою сторону — не понял юмора, потом громко смеется:

— Хорошо сказано — телега катится. Образно сказано. Но не кажется ли тебе, что телега должна быть загружена, порожняк гремит, да и неустойчива.

— Очень даже кажется.

— Так загружай добротным товаром, а не ширпотребом. Ну как ты постигаешь премудрости журналистики? Осваиваешься? Чувствую, освоился. И потому хочу дать тебе один совет — пиши положительное, пропагандируй передовой опыт, рассказывай о людях. Это создаст тебе имя, утвердит тебя. А критика... Нет, конечно, критика имеет свои положительные стороны, я уважаю ее и одобряю тех, кто умеет писать критические статьи. Но сам я приверженец очерков. Доброе слово о человеке имеет магическое свойство...

Я улавливаю смысл сказанного. Вернее, понял, к чему он клонит, но остановить его уже невозможно. В своей жизни я встречал немало любопытных людей, но чтобы познакомиться с таким индивидуумом, мне надо было побывать в долгих поисках.

Этот обладает удивительным свойством, делающим его феноменом. Если я вам сообщу каким, вы лопнете от смеха.

Из его уст льются потоки слов, как вода из открытого крана. Он может говорить часами, захлебываясь от великой радости, что имеет возможность говорить, и темы его излияний путаются, как спагетти в кастрюле, и сердце его булькает в горле, готовое выпорхнуть на волю, но он время от времени заглатывает его на место... Одним словом, феномен, да и только. На летучках говорит только он один. В течение часа, вникните в это — в течение часа. На редколлегии — только он один. Но вот что удивительно, стоит помолчать ему минуты три, как он забывает, о чем говорил. Будь я на его месте, обязательно обратился бы к врачу...

— Ты меня слушаешь?

— Конечно!

— Так вот, следуй моему примеру. Советую тебе как старший товарищ и по возрасту, и по профессии.

Он хотел сказать — по должности, но почему-то заскромничал. Следуй его примеру — это значит не пиши критических статей, а точнее — оставь в покое директора гидроэлектростанции. Словом, ему — царская рыба, мне — хроника наших будней. Держи карман шире, усмехаюсь я в душе, так-то я и уснул под твою песню. Я свое дело доведу до конца. До победного конца, а там поглядим, не придется по душе, скажу «гуд бай», меня ждут моя школа, мои ребята, которых я буду воспитывать по законам высшей педагогики. Мои ребята, а ведь я скучаю по ним, по

трели звонка, по шумной перемене, по озорным лицам и забавным ответам у доски.... Верно, не достает мне их...

Бывают минуты, когда я кляню себя за то, что ушел из школы, но уgomонятся мысли в голове, успокоятся нервы, и я говорю себе: а ведь надо было уйти, надо было, чтобы изучить и другие сферы жизни и людей в других сферах. Ведь говорится же в народе: все что делается — к добру.

* * *

Несколько дней спустя сижу у Ладислава (так зовут его в редакции, опуская букву «В», то ли для упрощения имени, то ли потому, что он ладит со всеми и имя Ладислав как никакое отражает его сущность) в кабинете. Мужик он хотя и не столь «железный», но поговорить с ним, излить душу ему можно. Мне так казалось. Он сидит, большой и рыхлый, в глубоком кресле, и на огромном столе его, выражаясь образно, смешались «пушки, кони, люди»... Какой-то винегрет из фотоснимков, оригиналов материалов, карандашей и фламастеров разных цветов, клея, ножниц, строкомеров... Сам черт не разберется в этом хаосе, а Ладислав разбирается. Удивительное чутье, нюх, инстинкт, рефлекс у этого человека, и они помогают ему.

— На какой стадии твоя статья?—спрашивает он, бережно держа в пухлой ладони трубку. В синих глазах его светится интерес.

— Ждет расположения Чуртикова,—говорю я.

— Хо-хо-хо,—добродушное лицо его краснеет от смеха, тело подпрыгивает в кресле.—Молодец, хо-хо-хо...

— Почему же молодец, ругать надо...

— За что ругать, остроумный ответ. Не за что ругать.

Он пыхтит трубкой, потом вытягивает ко мне шею и спрашивает шепотом, заговорщически:

— Писать все-таки будешь?

— Само собой,—говорю я.

— Не боишься?

— А чего бояться? Чуртикова, что ли?

— И правильно, пиши. А то у нас так повелось...—Он выпускает клубы дыма,—гладим и гладим по шерсти, так разгладили, что все вокруг шелковым стало. А Чуртикова бояться нечего. Материал сдай мне без визы Чуртикова, пробью.

— Моя цель — не материал пробить в газету, а материалом пробить твердолобость кое-кого,—говорю я.—Мне не подпись нужна в газете, а польза от выступления.

— Прав, прав,—одобрительно качает головой Ладислав.—
«Согласен с тобой.

Он вдруг вскакивает с кресла, выползает из-за стола. Поймав мой удивленный взгляд, стучит ногтем по часам:

— Четыре. На летучку.

Кабинет редактора набит до отказа. Душно. Приношу из приемной стул, ставлю у порога, сажусь, откинувшись на жесткую спину и пускаюсь в воспоминания. Подумать только, какой-то год, годик прошел-то, а уже стал тоже историей. Годик, как я ушел из школы, ушел от нравившейся мне девушки, ушел от детей, которых любил... Вздрагиваю от легкого толчка.

— Конечно, ваше право выбирать жанр, но мне больше по душе очерк, зарисовка, рассказ о человеке труда...

— Баба сеяла муку...—шепчут рядом, смеются в ладонь. И меня разбирает смех от вида Ладислава. Он весь вытянулся в сторону редактора, пристально глядит ему в рот, синие глаза расширены до предела за очками.

— Да, да,—коротко бросает он, а мне чудится «ква, ква»...

— Вы разделяете мое мнение?

— Да, конечно,—опережает всех Ладислав, делая наивно-«соглашательское» лицо.

— И сколько очерков ты написал?—слышится глухой голос из угла.

— Ну, зачем же так,—обиженным тоном произносит Ладислав.—Тут речь идет в принципе...

— А много у тебя принципов?—раздается опять глухой голос.

— Не будем спорить, продолжим нашу летучку...

Я выхожу из кабинета. Программа летучки давно известна всем: редактор будет искать лучшие материалы за неделю, потом поставит задачи перед отделами, переходя на производственное совещание, вспомнит об ошибках, выползет из доброжелательного тона, станет кричать, обвинять в пассивности тех, кто на самом деле «тянет», совершенно не замечая тех, кто бьет баклуши и лодырничает, возложит еще кучу обязанностей на заведующих отделами...

Ну для чего мне слушать риторику стареющего человека, расстраивать свои нервы. Я здесь человек временный. Пусть здравствует тот же Чуртиков, держит нос по ветру Ладислав, борется за морально-психологический климат в коллективе. Пусть все и всё остается на своих местах.

Послушай-ка, останавливаю я себя, почему ты так зол на них, и почему ты считаешь, что обнаружил изъян в их нравственных принципах? Кто тебе дал право смеяться над людьми и их действиями? Ты неправ... Ты неправ... Ты неправ...



Моя статья вот уже месяц как находится у редактора. Неделю две назад мы столкнулись с ним в коридоре; он быстро прошел мимо, затем замедлил шаг и из-за спины бросил:

— В твоём материале есть некоторые спорные вещи. Я передал ее членам редколлегии, на днях соберемся на обсуждение.

Но члены редколлегии не торопятся на сбор, потому что не видели статью. Как мне удалось чуть позднее выяснить, «передать статью членам редколлегии» у него означает просто-напросто положить ее под сукно.

Но меня не так-то легко провести на мякине, хотя я и не старый еще воробей: у меня вошло в привычку печатать всегда два экземпляра материалов и второй вместе с рукописью хранить, пока статья не выйдет в свет.

Не знаю, на что рассчитывает редактор! На мою забывчивость? Память у меня превосходная. На то, что поняв тщету своих попыток, я махну рукой и откажусь от своей работы! В таком случае, он меня очень плохо знает. Может, он считает, что я, как благодетельствованный им, не буду «лезть на рожон», мирно и тихо уступаю...

Я иногда задумываюсь над судьбой, вернее положением в коллективе, в обществе тех людей, которые, будучи тоже личностями, но когда-то благодетельствованные личностью сильней и с весом, постепенно теряют самолюбие, самодостоинство. Привыкают, как говорится, петь с чужого голоса. Когда-то я им дал имя «человек-тень», но потом усовершенствовал это понятие, сейчас называю «дублер». Так вот Ладислав при всех его положительных качествах — он и шутник, и весельчак, и деловой мужик, и хороший журналист — вот Ладислав «дублер». Он прекрасно, ох как прекрасно понимает, что я рассекретил его характер, натуру, но ни на йоту не дает мне о том знать. Если бы он не уступил где-то когда-то редактору, если б в сложном механизме его организма не сорвался какой-то болтик или винтик, он стал бы личностью в редакции. Ладислав превосходно представляет судьбу моей статьи, но он умно, тонко придерживается политики невмешательства в «сложившейся» ситуации. Он может давать советы, о которых способен «забыть», может привести пример из своей практики, желаемое выдав за действительное...

— Знаешь, Ладислав, я о тебе составил мнение как об особом микроклимате в коллективе,—говорю я ему, откинувшись на спинку полумягкого кресла.

Он поднимает на меня глаза, делает наивно-детский взгляд.

— Да что ты, Умалат? Что тебя еще посетило?

— Точнее, ты мне напоминаешь климат нашего города. Семь раз на день меняет направление ветер. Утром дует с севера, через час с юга, в обед снова с севера... А если весь день наблюдать за флюгерами, шею можно свернуть себе...

Лицо у Ладислава становится пунцовым, но взгляд—прежний; какая же нужна тренировка, чтобы научить себя не менять его!

— Нет, сегодня у тебя настроение дурное,—повторяет он и начинает ковыряться в трубке.

— И чтобы сохранить свои шейные позвонки, я не буду смотреть на твой флюгер,—говорю я и чувствую, что говорю жестоко, — и на мельницу Чуртикова, который вхолостую крутит крыльями и жалобно скрипит на всю округу. Я принял решение идти против ветра.

— У нас ветры сильные, с пылью. А ты пыль не любишь,—говорит Ладислав.

Все-таки умный мужик, надо отдать ему должное.

— Это верно, не люблю. Но идти-то надо. А потом... благоустроим город, наведем порядок, чтобы пыли не было...

— А ветер?

— А что ветер? Природное явление. Надо научиться его не бояться.

Я выхожу из редакции, зная точно: передавать наш разговор другому он не будет. Да так или иначе все равно в скором времени станет известно о моем противоборстве.

Спустя неделю я сижу в кабинете Чуртикова.

Он делает вид, что очень занят работой: просматривает материалы, переставляет их с одного края стола на другой, и как бы между прочим спрашивает:

— Слушай, как в секторе печати обкома узнали о твоей статье?

— Вы как предполагаете?

— Трудно что-либо предположить. — Он пожимает плечами и разводит руками в стороны.

Как бы не так, думаю про себя, ведь ты все прекрасно знаешь. Хитришь только.

— Трудно предположить,—повторяет он снова.

— Не лукавьте, Матвей Павлович, вы ведь знаете, что я отнес свою статью...

— Не продолжай,—останавливает он меня, загоразживаясь ладонью,—не продолжай. Не хочу верить...

— Считаете предосудительным мой поступок?

— Да нет же...

— Не согласны с фактами, изложенными в статье?

— Гм... Как сказать... Надо бы всей редколлегии обсудить... Серьезно...

— Вот потому я и попросил компетентных товарищей прочитать статью, высказать свое мнение, если нужно — поправить.

— Конечно, твое право показать статью компетентным товарищам, но я бы не советовал так поступать. Наши ребята тоже дали бы тебе хороший совет...

— А я их получаю.—Я смеюсь, право, мне весело от всего этого беспредметного разговора, я смеюсь и гляжу ему в глаза.—Получал от вас, от Ладислава... Но, понимаете, беда в том, что ваши принципы для меня неприемлемы. Точнее, ваши мини-принципы я не приемлю.

— Какие еще мини-принципы?

Матвей Павлович не сводит с меня удивленного взгляда.

— Это новая терминология, Матвей Павлович.

— Не слыхал,—протягивает он.—Где вычитал-то?

— Помните программу-максимум и программу-минимум? Так вот, сегодня одни живут макси-принципами, другие мини-принципами. Вы довольствуетесь вторым.

— Это почему же?—настораживается Матвей Павлович.

— У вас рост маленький. А Ладислав,—упреждаю я его,—хотя и высокий, стелется тоже низко.

— Ты дерзишь, однако.

— Нет, я поясняю «ho is ho». Как говорят англичане «кто есть кто». Ну, а статью вы все-таки сдайте в набор, иначе тараканы обнаглеют. Кстати, Матвей Павлович, у вас дома нет тараканов?

— Нет... Да, кое-когда появляются... При чем тут тараканы? Да еще мой дом. Ты уже чересчур стал дерзить.

— Больше не буду, Матвей Павлович, даю честно мальчишеское слово.

Я встаю и выхожу из кабинета. Ох, и какие же бури разыгрались в душе Матвея Павловича, я всеми фибрами души чувствую это. Жестоко? Ничуть. Почему я должен терять миллионы нервных клеток, а Матвей Павлович торжествовать, довольно потирать пухлые ладони и глядеть невинными глазами? Я этого не хочу. Я этого не позволю.

* * *

Коллектив празднует свое шестидесятилетие. Шесть десятков лет ежедневно газета выходит в свет, учит людей жить по-новому, помогает им найти в себе дополнительные силы, энергию,

чтобы трудиться еще лучше, еще эффективнее, борется с косностью... Одним словом делает то, что делают и другие газеты. Шестьдесят лет — срок немалый, а профессия журналиста — самая тяжелая, как признают сейчас и медики, и геронтологи. Потому лучшие из лучших журналистов представлены к наградам: двое к званиям заслуженного работника культуры республики, трое к почетным грамотам.

Коллектив готовится к празднику. Местком совместно с Чуртиковым, у которого широкие связи с торговыми организациями, подыскивает сувениры и подарки, женщины обговаривают стол, а мы все живем в ожидании. Мне-то здесь ожидать нечего, кроме, может быть, папки и ручки, я здесь человек новый, без году неделя, как говорят в народе, а потому присматриваюсь. А сегодня невольно подслушал разговор. Секретный. И на душе стало так скверно, словно я наглотался спертого воздуха.

Вхожу я к Ладиславу по делу, в кабинете — никого, повернул было идти обратно, и тут слышу голос из-за перегородки; а за ней кабинет Чуртикова.

— Знаешь, Ладик, нам не дадут ни одной награды. То есть звания. — Голос Чуртикова.

— Быть того не может. Юбилей газеты — и ни одного звания? Хитришь, Матвей Павлович! — Голос Ладислава.

— А чего мне с тобой хитрить. У меня звание есть, тебе бы не мешало его иметь...

— Откуда ветер дует?

— Дурной ты, Ладик. Я же тебе добра хочу.

— Ну?

— Дают нам один знак. Медаль «За трудовое отличие». Ну, и почетные грамоты.

— Ты это что, серьезно?

— Перестань ребячиться. Значит так, дают медаль. Мы представим на этот знак... не тебя. Представим аграрника. Ему бы, конечно, звание нужно бы, через три года на пенсию уходит, всю жизнь почти пашет в газете. Но что поделаешь, если не дают звания, мы его медалью наградим. За заслуги и разное прочее.

— Но мужику ведь на пенсию...

— Тут шеф сплеховал, если бы пораньше он кое-кого попросил да объяснил ситуацию, пошли бы навстречу. а... ты сам знаешь, он оставляет мосты для себя. Так что аграрник получает медаль. Ты меня понимаешь? Следующая очередь твоя — знаменательное событие, и ты получаешь почетное звание.

— Вилами по воде писано...

— Ну не говори. Аграрник через три года уходит, а нам с тобой еще вкалывать и вкалывать...

— Гляди, и ты получишь.

— А почему бы и нет: и ты, и я. Будь спокоен. Мы свое не упустим. А сейчас надо представить к награде аграрника. Он заслужил. Ну нельзя же в конце-концов ему ничего не давать. Нет звания, понимаешь, нет.

— А шеф..?

— А что шеф? Не представить аграрника он не может... Ну, ты меня понял?

Я их понимаю, и оттого мне становится гадко на душе, и неловко за то, что оказался невольным свидетелем разговора. И сам праздник мне уже кажется не праздником, и вся работа по проведению торжества — мышинной возней.

* * *

Еду в круиз по северным странам. Наконец-то. Ждал этого целый год. Целую вечность. И вот полчаса назад мне позвонили и сообщили, что я включен в состав группы. Осуществилась мечта моего детства. Скандинавия, Западная Германия, Англия. Представляете? Я плыву по фьордам, ступаю по земле древних викингов, слушаю удары Биг Бена, стою у серых стен Тауэра... Ну, что вы скажете, Матвей Павлович, о моей персоне? Как вы оцениваете это событие? Пожимаете плечами, склонив голову? Шушукаетесь с Ладиславом? Вам не понять чувства, волнительного чувства, охватившего меня. Я еду за границу, я буду свободно передвигаться по разным странам, я буду представлять свою страну. Понять ли вам это? Не знаю, право, коллеги, понять ли вам это?

Тетрадь третья

* * *

Наше уютное аккуратное судно с тремястами туристами на борту час назад как отошло от причала Ленинградского порта. Небо синее, и солнце ласково нежит кожу. Но море! Оно холодное, суровое, вязкое и тяжелое, словно ртуть.

Я стою на борту довольно долго и поражаюсь, как все-таки это море хмуро, и тугие волны его мрачны, а пена за кормой холодна и не радует глаз, поеживаюсь от этой неприветливости. Перевожу взгляд на чаек, повисших над бортом и жадно хватающих в воздухе крохи булок, которые бросают им туристы. Море мне не нравится.

Спускаюсь в бар, беру рюмку коньяка и забиваюсь в угол. Широкоплечий молодой бармен артистично взбивает коктей-

ли, над столиками стоит веселый гомон и я вскоре забываю о неуютности моря. Этот корабль—частица родной земли с ее различным населением.

— Умалат, куда ты запропастился,—размашистым шагом ко мне подходит Володя.—Я уж подумал—не дернуть ли ручку стоп-крана.

— Ха-ха-ха, деревня... это же не поезд,—слышится из-за соседнего столика.

— Верно, когда я установил, что это не поезд, решил спустить на воду шлюпку, а пока для храбрости—промочить горло. Бармен, два коктейля, пожалуйста...

— Удивительная компания,—слышится снова из-за соседнего столика.

— Куда ты девал Гарика,—спрашиваю я, когда Володя, наконец, усаживается за столик.

— Гладится,—говорит Володя.—А вообще нет уже среди нас Гарика. Есть Гарри, так он просит себя называть.

— Два коктейля, прошу,—раздается бас бармена.

Володя приносит коктейли, потом снова уходит к стойке и возвращается, неся бокалы с манговым соком.

— Привык к нему в Африке,—говорит он, кивая на кремового цвета напиток.

— Вы были в Африке?—снова спрашивает из-за соседнего столика голос.—Счастливчик. Что вы там видели, расскажите, пожалуйста.

Володя поворачивается, окидывает взглядом белокурую девушку и, сделав улыбку на губах, говорит небрежно:

— Как-нибудь в другое время.

— Расскажите, пожалуйста,—тихо передразнивает Володя.—У себя область свою не знает, наверное, а хочется Африки, ну надо же...

— А разве ты сейчас не свободен?—спрашиваю я.

— Нечего улыбаться. Ты прекрасно видишь, что я занят.

И Володя начинает медленно цедить коктейль.

Гомон в баре усиливается. В соседнем зале, за перегородкой, звенят пивные кружки. Я встаю и перебираюсь в музыкальный салон.

Тучный парень, кавказского типа, наигрывает на фортепиано «Историю любви». Любопытствующие заглядывают, нерешительно топчутся у дверей, затем удобно располагаются в креслах.

«Маэстро» переходит на быстрый фокстрот, Володя подхватывает белокурую девушку, к ним подскакивают еще несколько пар и начинаются «скачки».

Уморившись от танца, Володя валится в кресло и приглашает сестр рядом девушку.

— Вы и в самом деле были в Африке?—спрашивает она.

— Конечно,—тоном, не допускающим сомнения, отвечает он.

— Давно?

— Как сказать...

— Ну что вы там видели, что, расскажите.

— Что видел... Пальмы, ананасы, бананы, негров, обезьян.

— И чем вы там занимались?

— Лечил. И воевал.

— Лечили? И воевали? С кем?—она задерживает дыхание.

— С Бармалеем.

— С ке-е-ем?

— С тем самым Бармалеем. Он был в единственном экземпляре.

Она вдруг громко смеется, запрокинув голову.

Я уже представляю неписанную программу дальнейших действий «вечернего спектакля». Скоро подойдут оркестранты, начнутся танцы, игры, дружеские беседы за столиками, поздно ночью все разойдутся по каютам... А может, кто-то выйдет на палубу подышать холодным Балтийским воздухом...

Ко мне пробирается средних лет высокий мужчина. Внешность у него броская: ослепительная лысина, непомерно большие, чуть раскосые серые глаза, острый подбородок. Одет с иголочки.

— Добрый вечер,—обращается он ко мне.—Вы, случайно, не газетчик?

— Вечер добрый. Нет, учитель.

— Учитель?

— Учитель, из клана воспитателей и наставников детей. Отличный типаж, есть за что ухватиться, хотя и гладок очень. Ярок и необычен он для журналиста; в моем представлении журналист намного проще и во внешности, и в одежде. Впрочем в семье единой и брат родной подчас на брата не похож.

— Извините. Я обычно газетчиков по нюху узнаю.

— Значит, ошиблись. А чем они, если не секрет, пахнут?

Он улыбается, удобно располагается в кресле.

— Как вам сказать? Во-первых, они обладают внимательным, цепким взглядом. Во-вторых, общительны, но больше слушают, чем говорят. И потом... рыбак рыбака видит издалека.

Это уж точно. Народ никогда не ошибается в своих образных выражениях. Но мне не хочется признаться ему, что он точно определил во мне собрата по профессии.

— Я недолго увлекался юриспруденцией, работал следователем, но увлечение журналистикой взяло верх и я стал газетчиком.

— Будущее ваше светло и прекрасно,—говорю я.—А мне хочется в полумрак каюты. Утомился за день. Спать пойду. Веселого вам вечера.

И я ухожу спать. На самом деле спать.

* *

Наша каюта уютна и красива. Уют, впрочем, во многом зависит от нас самих. Володя оказался чистоплотным мужчиной, любит порядок, и, главное, свежий воздух. Иллюминатор постоянно открыт и мы дышим ионами.

Просыпаюсь рано утром, озабоченно прислушиваюсь, не чувствую ни малейшего движения. Сердце теплохода — машинное отделение молчит. Неужели дрейфуем? Поднимаюсь, выглядываю в иллюминатор: передо мной — порт. Точнее, просторная чистая набережная. По ней пробегают легковые автомашины различных марок и цветов. Дальше высятся дома в готическом стиле, венчающиеся всевозможными башенками, шпилями, отчего тяжелые, монолитные здания кажутся легкими, изящными...

Я быстро умываюсь и, растолкав сладко спящего Володю, поднимаюсь на верхнюю палубу. В ярком утреннем свете передо мной лежит большой серокаменный город. Основательный, тяжелый, прочный. В мою сторону глядит бронзовый всадник: весь он, конь его и постамент покрылись, словно зеленкой, а точнее — окислились.

Слева от него, как рыбий пузырь, куда-то вдаль тянется озеро, тоже зеленое. А еще левее на холмы взобрались домики...

— Стокгольм. Вам нравится?

Рядом стоит неудавшийся юрист, мой вчерашний собеседник.

— Пока не познал его нравов...

— Юморист,—он смеется.—Давайте знакомиться хотя бы уж на земле Швеции.

— Земля это наша,—улыбаюсь я ему.—Мы, видите ли, стоим на палубе советского теплохода.

— Да, вы правы. Так давайте знакомиться.—Он делает коротенькую паузу, как делают чтецы или актеры, чтоб ринуться в бой, то есть показать свое искусство:—Фемис.

До меня, до моего сознания это слово не доходит.

— Фемис?—переспрашиваю я.

— Отец мой историк, любит экзотические имена. Вот и нарек меня греческим именем Фемистокл.

— Но не Фемис.

— Да, но неуютно произносить Фемистокл.

— А мне кажется, на шведской земле лучше звучало бы Стокл.

— Вы так думаете?—Его голова, пахнувшая дорогим одеколоном, оказывается перед моим лицом.

— Да, я так думаю.

— Что же, беру на вооружение.

В этой болтовне я не нашел просвета, чтобы назвать себя и теперь как-то неудобно вооружить его своим именем. А он и не спрашивает.

На палубу выходят Володя и Гарик. Володя широко разводит руками, словно готовится обнять открывшуюся перед ним панораму и сладко зевает. Гарик щеголеватой походкой подходит к поручням:

— Роскошный город, ничего не скажешь. Интересно, в чем здесь ходят?

— Не печалься, ты блеснешь... платьем,—Володя лихо отбивает чечетку ни с того ни с сего и обращается ко мне:

— Как распланируем день?

— Я в музей Миллеса,—говорю я.—А вы куда, Сток?—Букву «л» опускаю.

— Думаю один пройтись по городу.

— Я с Володей,—говорит Гарик.

Я не представил своих товарищей по путешествию. Володя—будущее светило спорта, а пока он является студентом-заочником факультета физической культуры. Гарик—профсоюзный работник, и плюс к тому любит красиво наряжаться. Но разве это недостаток современного интеллигентного человека?

На набережную въезжают семь больших автобусов. Они сверкают так, словно только сошли с заводского конвейера.

— Губа не дура,—говорит Володя, обращаясь ко мне.—Себе, значит, выбрал авто фирмы «Вольво», а нам—каблуки сбивать о брусчатку!

— Потрясные авто,—произносит Сток.—Нашим «пазикам» и «лазиком» далеко до таких...

Володя бросает взгляд на меня, подмигивает, вдруг широко зевает и громко нараспев произносит:

— Пошли завтракать.

Уже пробираясь по узкому коридору теплохода к ресторану, он тихо говорит мне:

- Не нравится мне этот твой Сток. Не туда течет...
— А мне очень нравится.

* * *

Автобус долго и нутжно взбирается в гору. Наконец, он останавливается, устало выдыхает у невысокого дома и экскурсанты, прыгнув на землю, втискиваются в узкую калитку.

Двор, в который входим, выложен брусками горного камня, между которыми, в расщелинах, упорно пробивается трава. На террасах стоят скульптуры. Взиваясь вверх и обрушиваясь на мускулистые плечи, спины, руки и локоны, ликует искрящаяся на солнце вода фонтанов.

Это сад Миллеса—дом-музей выдающегося шведского ваятеля Карла Миллеса.

Утомленный от осмотра и впечатлений, я подхожу к краю двора и сажусь на гранитный парапет. Далеко внизу, в золоте солнца, лежит Стокгольм.

Отыскиваю ратушу, королевский дворец, затем ощуаю взгляд и присутствие человека. Оборачиваюсь.

Передо мной стоит мужчина. Он опускает от лица фотоапарат и по-русски спрашивает:

— Вы разрешите вас запечатлеть на память?

— К чему формальности, вы уже меня запечатлели. Валяйте.

— Что вы сказали?

— Валяйте, говорю. Щелкайте на здоровье. Надеюсь, вы мне не припишете чужие грехи?

На душе становится скверно. Причиной, очевидно, этот тип. Откуда он и что у него на уме, думаю я, глядя на человека с фотоапаратом. Ему лет за пятьдесят. Лицо, на котором приютились бесцветные глаза, бледно. Из-под широкополой шляпы свисают светлые кудри. Одет в светлый плащ с широким поясом и светлые брюки. На ногах—полуботинки на толстой микропорке.

Человек с фотоапаратом подходит, садится на парапет и принимается перематывать пленку.

— Меня зовут Николаем Николаевичем. Вы из Советского Союза, я вижу.

— У вас глаз наметан.—Я смеюсь.

Собеседник ничуть не обижается, громко сморкается в платок и опускает его глубоко в карман плаща.

— Ну, как у вас там сейчас.—Он заглядывает мне в глаза.

— Так же, как и всегда. Превосходно.

— Да?

— А вы в чем-то сомневаетесь?

Тот отводит взгляд, потом говорит:

— Я хотел спросить, как у вас относятся к творчеству Солженицына. Как вы, например, относитесь?

— Хотите поговорить о творчестве Солженицына? А вы читали что-нибудь из опусов Солженицына?

— Да, так...

— Что именно?

— Да, так... ничего.

— Ну, знаете ли. Как мы можем с вами спорить о писателе, если вы не имеете ни малейшего представления о нем. Это нечестно с вашей стороны.

— Скажите,—говорит тот после минутного молчания.—Правильно поступило ваше правительство, разрешив ему выехать из страны?

— Вы или плохо разбираетесь в политике, или прикидываетесь простачком.—Я смотрю ему в лицо и улыбаюсь.—Мое правительство вовсе не разрешило ему выехать из страны, оно выдворило его. Поймите эту разницу, если вы взялись изучать русский язык. Порядочных людей из страны не выдворяют, как вы считаете?

— Вы, конечно, правы... Ах, вот и моя супруга, прошу познаться.

Крупная женщина кладет небольшой чемоданчик на парапет и высоким голосом произносит:

— Фрау Мильда.

Я слегка кланяюсь. Николай Николаевич ждет, когда я произнесу свое имя. А я специально растягиваю это ожидание, потом жалею незадачливого типа — ведь он по-своему зарабатывает свой хлеб — и называю пришедшее в голову имя:

— Модест.

Тот поднимает удивленно белесые брови:

— Разве у вас есть такое имя?

— А разве вы не знаете Мусоргского? Модеста Петровича? Кстати, если не секрет, кем вы работаете? Судя по вашему разговору, вы недурно владеете русским языком.

— Я специалист по славянским языкам.

— Скажите-ка, и не подумал бы. По славянским языкам.

— Не раз бывал в Польше, Чехословакии, Болгарии, Югославии. Послушайте, Модест, а вам не влетит за то, что вы разговариваете с незнакомым шведом?

Влететь-то не влетит, думаю я, а вот с порядочным ли шведом разговариваю — еще неизвестно.

Фрау Мильда, взяв чемоданчик, отходит и вскоре исчезает за скульптурами и фонтанами.

— Вам нравится Стокгольм?—слышу я голос Николая Николаевича.

— Нравится.

— Если хотите, я покажу вам его.

— Благодарю. Я хочу спуститься пешком и у меня очень ограничено время.

— Вот и провожу вас.

Он навязывался откровенно.

Мы выходим из узкой калитки, спускаемся по улочке и вскоре оказываемся на широкой улице. Мой попутчик, раскрыв рот за порогом, не переставая, что-то говорит, но я не слушаю его.

— Вот взгляните на эту современную церковь,—Николай Николаевич быстро фотографирует меня на фоне церкви.—Думаете, прихоть? Как бы не так. Молодежь требует новизны, вот и пошли ей навстречу.

— И много молодежи поклоняется богу?

— Церковь уже не та, какой вы ее представляете. Орган, танц-плацы, джаз-оркестры собирают сотни людей.

— И еще устраивается кардебалет?

— Не богохульствуйте.

— Я-то? Если кто и богохульствует, так этот торговец,—я указываю взглядом на газетный киоск. Окна его облеплены порнографическими журналами.

— Таких торговцев у нас раз-два и обчелся,—Николай Николаевич фотографирует меня на фоне киоска.—Сейчас общественность развернула широкую борьбу против порнографии. Вот наша гордость, которой мы поклоняемся.

Выходим на площадь. Перед голубого цвета зданием Шведской академии наук стоит скульптурная группа. В окружении ликующих фигур, воздев руки к небу, Орфей смотрит вверх, в синее небо, и фонтаны воды разбиваются о его непокорное тело. Толпы туристов снуют вокруг него. Обойдя столпившуюся вокруг Орфея массу, я и Николай Николаевич выходим к высотным зданиям торгового центра на Сёргельторьет. На первых этажах высотных домов в огромных витринах магазинов выставлена цветная порнография. Перед ней толпятся эротоманы.

— Реклама,—вздыхает Николай Николаевич.—Так владелец книжного магазина зазывает покупателей.

— Замечательный метод. Эротика увеличивает число читателей,—усмехаюсь я.—Но, как мне кажется, публика больше увлекается лицезрением секса, чем приобретением книг.

Мой попутчик ничего не отвечает. Решил отмолчаться. Мы

следуем на набережную, проходим мимо площади современной скульптуры и оказываемся у массивного четырехэтажного дома. Над подъездом висит броская реклама: интимный клуб «Ройял»; в тяжелом плафоне горит красная лампочка.

Мое чуткое ухо улавливает щелчок фотоаппарата. Когда я оборачиваюсь к попутчику, тот моргает белесыми глазами и говорит:

— Это дом молодежи.

— Здесь и без перевода все ясно.

— Да нет же, это на самом деле дом молодежи...—он еще что-то говорил, но я уже иду по каменистой улочке и думаю, с каким удовольствием отогнал бы этого прихлебателя от себя. Но... нельзя, не сейчас, я приготовил ему сюрприз.

На маленькой улице, которая почему-то имеет длинное название—Светлая Северная Церковная, у антикварного магазина Николай Николаевич останавливается.

— Вы не желаете сюда войти?

— Нет, не желаю,—говорю я жестко.—Я и так с вами загулял.

— Не пожалеете, зайдемте, хоть на минуту.

Жесткие нотки в моем голосе его ничуть не смущают.

Тертый калач, думаю я, и настырный, точнее—наглый. Но я доставлю ему и это удовольствие.

И перешагиваю порог магазина.

Здесь продается всякая всячина: порнографические журналы, револьверы, часы, карандаши и ручки, брелки для автомобилей. Полки буквально ломятся от литературы. Раздается знакомый щелчок фотоаппарата.

— Благодарю вас, вы много стараетесь для меня,—улыбаюсь я, глядя на попутчика.

— Вы русский?

Голос хриплый, простуженный, раздается из-за прилавка. Оборачиваюсь. На меня смотрит пожилой мужчина. Его круглое лицо обрамляет седеющая борода. В глубоко посаженных глазах, хмурых и тусклых—интерес.

— Как слышите. А вы тоже славянофил?

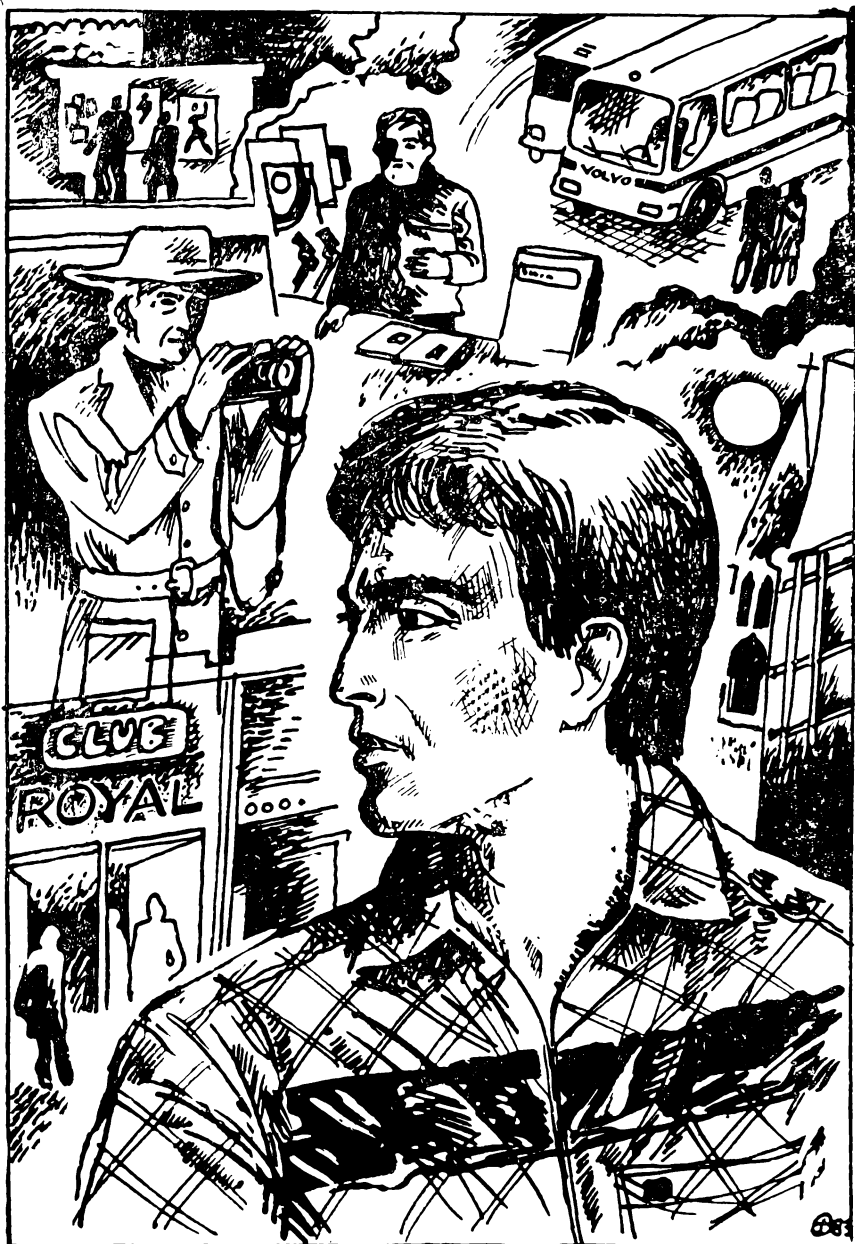
— Славянофил? Позвольте, батенька, я истинно русский человек.

— Надо же, русский человек—и в Стокгольме.

— Истинно русский... Джек Аполли к вашим услугам.

— Джек Аполли?.. Первый раз в жизни вижу русского с таким забавным именем.

— Евгений Апполлинариевич, если хотите знать. Но здесь любят произносить короче.



Снова раздается шелчок фотоаппарата: Николай Николаевич решил запечатлеть меня с земляком...

— Ну, как там у нас, как народ живет?—с хрипотцой спрашивает Джек Аполли. Он встает из-за прилавка: это высокий, крепкий мужчина, на нем вельветовая черная куртка и джинсы. Я обращаю внимание на репродукцию картины Шишкина «В сосновом бору», которая висит в рамке над его головой, на стене.

— Где это у вас?

— Ну там, в России,—Джек Аполли не смущается.—Вы ведь поняли меня, нечего, батенька, и переспрашивать.

— Я так, для уточнения. Что касается народа, то живет он вы знаете как, и по беглецам не горюет. Было бы за что...

— Я, батенька, не беглец. Если вы меня имеете ввиду, то я не беглец. Я остался здесь. Приехал туристом, насмотрелся, осмотрелся и остался. А паспорта своего не сдал, нет, гражданство сохраняю. Вот купил магазин, торгую... И Россия радом...

— Ну, конечно, сосны и медведи, превосходно устроились. А еще превосходней—ваш товар. Вам бы этих журналов и альбомов лет двадцать-тридцать назад. К чему они сейчас... Годы не те. Впрочем, как знать...

— Говорите, говорите, батенька, вам, идейным, можно все говорить. Но я не обижусь. Я рад видеть вас, что ни говори, а из России, нечасто вас здесь встретишь. Выпьем на радости стопочку-то...

Джек Аполли лезет под стойку, но я предупреждаю его:

— Премного благодарю вас, не буду я пить, иначе Николай Николаевич сфотографирует меня со стопкой на фоне порнографии. Он сегодня израсходовал на меня почти всю пленку. Да, кстати, Николай Николаевич, вы случайно не болеете?

— Я? Болею? Что вы!..

— Да не пугайтесь. Ну, склерозом, к примеру.

— Это есть немного. Склерозом—да.

— То-то и оно.—Я смотрю ему прямо в глаза.—Ваш труд сегодня был напрасен. Всю пленку загубили.

Лицо Николая Николаевича деревенеет, взгляд становится злым и жестким.

— Как это загубил? Почему?

— Склероз подвел.—Я открыто смеюсь ему в лицо, мне на самом деле становится смешно и хочется сделать больно этому славянофилу.

— Как загубил?—повторяет он.

— Да очень просто. Вы при мне перемотали пленку, помните, в саду Миллеса, когда сидели на парапете.

Лицо Николая Николаевича начинает сереть.

— Ну?—произносит он коротко, подавлено.

— Ну и вот. Перемотали, а вытащить забыли. Стали шелкать на ту же пленку. Жаль мне ваш труд.

Я выхожу из магазина. На улице—ясный день. С залива дует освежающий ветерок.

* * *

Подхожу к каюте, останавливаюсь. Вернее, меня останавливает голос Володи.

— Как тебе не стыдно. Из-за каких-то десяти марок, это же надо—из-за десяти марок унижать себя. Ну зачем тебе они сдались?

— Ты понимаешь, десять марок—это два мотка мохера...

— Да заткнись ты, тряпочник несчастный. Два мотка... Тебе бы два аперкота для урока... Ни чести, ни совести, тряпочник.

Ну как ты мог пойти на такое, ума не приложу? Я бы сквозь землю провалился. Срамота-то какая, боже мой, у тебя совесть хоть чуточку проснулась?

— Да я же не знал, что так выйдет. И потом—я ее не ем. Куда-то надо девать икру.

— Девать икру. Мы бы поели за тебя. Никуда не надо было ее девать. И вообще, если не ешь—какого черта надо было брать с собой.

— По инструкции не запрещается.

— По инструкции тебя сейчас судить полагается товарищеским судом, по инструкции вот что полагается...

— Не имеете права...

— А вот имеем. Я тебя час искал, бегал по улицам чужого города, высунув язык, как собака, а ты, тряпочник, икру сбывал... за это тебе морду расквасить надо, а не только судить... Ладно, иди к себе, противно мне на тебя глядеть.

Я уже догадываюсь, что произошло, но не хочу вмешиваться: Володя урок ему преподносит толково, без рукоприкладства, педагогично. Дверь каюты открывается, Гарик выходит и, не заметив меня, направляется к себе. Володя лежит на койке, разутый, спокойный, словно минуту назад не он кричал на товарища. Отличное самообладание у мужика, спортсменов, ничего не скажешь.

— Ну как Миллес?—спрашивает Володя, закидывая руки под голову.

— Прекрасно.

— Надо было мне пойти с тобой,—говорит он задумчиво.

— Встретил двух тритонов.
— Чего, чего?—Володя привстает, потом садится.
— Один, видать, делает бизнес на людях, а другой предал родину, стал владельцем лавчонки.

— А вообще-то, если трезво пошевелить мозгами, недурно. —Володя подходит к умывальнику и моет лицо. — Родина — она необъятная, ее двумя руками не обнимешь, не встрясешь, ее надо исходить, изъездить, на ней надо строить и строить, одна морока, так я думаю. А лавчонка вот она, вся перед тобой, десять шагов из угла в угол, да и то меньше, набита всякой всячиной, и кормит тебя, и поит, и забот никаких. И запах новый, своеобразный—трухой несет, пылью и бумагой. Недурно. Так я говорю?

— Так, так,—смеюсь я.—Дай умыться, и пойдем обедать. В салоне ресторана—вкусный запах. Мы садимся за свой стол. Володя открывает бутылку минеральной воды и, растягивая рот в улыбке, говорит:

— Наденька, мы явились.

Молоденькая официантка отвечает ему улыбкой и через минуту приносит дымящийся украинский борщ.

— Ну, роденькая, ты просто чудо,—Володя целует ей руку.

Наденька смущается, отмахивается от него и уходит.

— Нравится?—спрашиваю я.

— Не это главное.—Лицо Володи на минуту становится серьезным. Насмотришься за день на бледных скандинавок, даже красивых—но все это чужое, а тут своя, жизнерадостная девчонка, глянешь на нее—аж сердце сбивается с ритма.

— Философ...

— Я-то? Вот они философы.

За стол садятся Гарик и Сток. Первый тих и угрюм. Зато другой—сплошной восторг.

— Ну ребята, насмотрелся, очарован, потрясен. Не ожидал, не ожидал, что здесь все так возвышенно, богато, прочно.

— А я-то, дурень, ничего не заметил,—вставляет Володя.

— Надо быть наблюдательным. В магазинах были? Кримплена каких цветов только нет. А костюмной ткани-то, бог ты мой, видимо-невидимо.

— Не может быть!—наигранно протягивает Володя.

— Еще как может.

— Полки гнутся от него.

— Вот здорово-то. Накупил бы на рубашки, костюм...

— Рубашки я ношу из хлопка.

— А они как, тоже дешевые?

— Не сказал бы, где-то пятнадцать-семнадцать рублей.

Володя подтрунивает над Стоком, но тот продолжает изливать свой восторг.

— А какая чистота на улицах. Оказывается, ночью уборщики моют тротуары, памятники, площади мыльным порошком. Ты представляешь, какая культура...

— А я сегодня видел мост — красавец. На самом деле красавец. Его здесь называют — мост самоубийц. С него безработные бросаются головой вниз,—произносит Володя.

Сток окидывает всех удивленным взглядом:

— Не видел.

— Из магазинов его не видать. — Володя с удовольствием потягивает минеральную воду.

— И как он, красивый, мощный?

— Ну! Перекинут через озеро, как радуга.

— Посмотрю. Обязательно. Ну, а девочки здесь,—Сток закатывает глаза, сладостно вздыхает.—Девочки... И говорят, очень доступны.

— Чего к ним ступать. Вот на тебя из иллюминатора публичный дом смотрит. — В голосе Володи чувствуется злость.

— То публичный дом. А я говорю не о публичных девушках. Стройны, красивы... зажигательны.

Володя раздражается хохотом:

— Ха-ха-ха, тебя ко всему прочему еще и зажечь надо, иначе ты не зажжешься...

Он подносит ко рту платок и выходит из ресторана, вслед за ним встаю и я. Уже на палубе, успокоившись, Володя произносит:

— А знаешь, Сток гнилой мужик. Мне так кажется.

* * *

После обеда туристов разбирают в гости шведы: вопрос обговорен с руководителями групп. Набережная забита автомобилями. Мы с Володей рассматриваем марки машин, когда к нам подбегает запыхавшийся Гарик.

— Еле отыскал вас. Сейчас уезжаю, запомните номер машины, в которую сяду.

— Это еще зачем?—удивляется Володя.

— Ну, может, завезут, провокация там какая-нибудь...—говорит растерянно Гарик.

— Эх ты, профсоюз... Волков боишься—в лес не ходи. Ну, покажи свой авто.

Володя сажает Гарика в шикарный «Вольво», хозяин кото-

рого с нетерпением дожидается гостя, машет им вслед рукой, подходит ко мне.

— Видал Анику-воина, как он в гостях-то высидит один—непонятно.

— Извините, господа, я бы хотел пригласить вас на чашку кофе.

Мы с Володей оборачиваемся одновременно. Перед нами стоит пожилой мужчина, высокий, сухощавый, в сером, ручной вязки, свитере и джинсах.

— На приглашение у нас не отказывают.—Я внимательно смотрю ему в лицо и вдруг ловлю себя на мысли, что пытаюсь обнаружить в нем тритона. Мне становится немного не по себе: не все же в этом мире подлы. — Далеко нам идти?

— У меня машина.

Влезаем в старенький «Фольксваген», мужчина выруливает на дорогу, забирает влево, влетает в полутемный виадук, который долго не хочет выпускать нас, наконец, вырываемся на свет и взбираемся в гору.

— Ну и лабиринт,—вздыхает Володя.

— Да еще какой лабиринт,—подтверждает швед.—Зовите меня Свен Янсон, или просто Свен.

— Где вам удалось изучить русский язык,—спрашиваю я.

— Супруга научила. Она у меня русская.

— Вот так задача,—произносит Володя.

— Сам я норвежец, когда была война, участвовал в движении сопротивления. Знал русских солдат, они высаживались на севере Норвегии. А Марию увидел, когда мы захватили и уничтожили немецкий завод. Там работало много русских.

— И она не уехала на родину?—спросил Володя.

Свен долго молчит.

— Она осталась одна. У нее никого нет. И я тоже был один.

— Но родина остается родиной,—повторяет Володя.

— Ты прав. Родина одна. Но когда человек измучен, так сказать, изуродован фашизмом, хочется теплого угла, покоя. Мы построили себе такой угол и уже не хотели расставаться. Конечно, вам трудно понять нас, вы молодые, но не мы выбирали этот путь, жизнь сама толкала нас на него. А на родине Марии мы бываем часто, как туристы...

«Фольксваген» бежит по брусчатке, громыхая, как консервная банка. Наконец, он останавливается у большого серого дома.

— Приехали.

Лифт поднимает нас на пятый этаж. Выходим на полутемную площадку, и тут же открывается дверь квартиры. У порога—крепко сбитая седая женщина.

— Милости просим, заходите.

Мы садимся в кресла. Хозяйка долго смотрит на нас с Володей, потом встает, выкладывает на стол из серванта фарфоровые чашки.

— Я сейчас вам заварю кофе.

Пока она на кухне, оглядываю квартиру. Над диваном портреты двух парней, до чего похожих на русских. Свен перехватывает мой взгляд, улыбается.

— Наши сыновья. Близнецы. Из-за них и уехал из Норвегии. Не хотел, чтобы они служили в армии НАТО,—он умолкает.—Я много лет воевал с фашизмом, Мария настрадалась от него, мы не хотели, чтобы дети служили в армии НАТО.

— А где сейчас ваши дети?—спрашивает Володя.

— Работают на судоверфи. У них свои семьи. Мы вот с Марией вдвоем.

Хозяйка вносит кофе, пирожные, присаживается к столу.

— Задавайте вопросы, будем отвечать,—говорит весело Володя.

— Какие вопросы?—Хозяйка удивленно смотрит на Свена, Свен на нее.

— Ну как же,—Володя не тушует.—Вы пригласили нас на беседу, мы ждем вопросов.

— Да бросьте вы,—хозяйка отмахивается рукой,—мы просто хотели посидеть с русскими, поговорить, жаль, дети не подъехали. Свен, наверное, уже рассказал, что я русская. Вы пейте, ешьте, не стесняйтесь.

Крепкий запах кофе пьянит. Володя не заставляет себя долго упрашивать, отхлебывает из чашечки, от удовольствия закрывает глаза, потом откусывает пирожное и произносит:

— Яблочное. Мое любимое.

Это «яблочное, мое любимое» сразу вносит какое-то тепло между нами, и мы говорим наперебой, хозяйка расспрашивает нас, мы ее: откуда родом, кто кем работает, кто где побывал... Потом она вдруг становится задумчивой, подперев голову рукой смотрит куда-то вдаль, в тайники души, и вдруг до нас доносится, будто издали, песня. «Ой, мороз, мороз, не морозь меня...» поет тихо хозяйка, и мы подпеваем ей «не морозь меня, моего коня»...

Многое еще хочется спросить у хозяйки, но эта песня перечеркивает, нет, вытесняет все вопросы—захватывает меня.

Мы уходим к себе на теплоход поздно вечером.

— Неплохо приняли нас,—говорит Володя, стуча каблуками по брусчатке.—Да вот не догадался Свен отвезти нас обратно.

Или хотя бы на трамвай дал мелочишко. А теперь топать нам во-о-он куда.

— Так не знал же он, что мы без денег,—смеюсь я.

— Это-то верно. Придется нести свой крест.

Наконец, узкие полутемные улицы выводят нас на ярко освещенную набережную. Откуда-то издали, сверху накатывается неясный звук. Он усиливается, переходит в рокот, затем в рев, рычание, словно чудовищная тысячесильная машина выкатывается на улицу. Прохожие в ужасе шарахаются к стенам домов. Железная армада ночных мотоциклистов в кожанках и шлемах, изрыгая из машин рев и удушливый дым, проносится по набережной, как смерч. Окажись на их пути человек—сомнут, сметут, как былинку.

Грохот уже где-то там, впереди, и откатывается все дальше и дальше, а над улицей еще долго висит смрад выхлопных газов, извергнутый сотнями железных чудовищ.

* * *

Наш теплоход светится огнями, в музыкальном салоне—танцы, но я следую мимо, в свою каюту. Минут пятнадцать спустя заявляется Володя.

— Опять «скачки»,—он сбрасывает костюм, берет полотенце. —Гарик отплясывает свое возвращение. Пойду приму душ.

Я закрываю глаза и, прежде чем меня сковывает сон, ворошу события дня. Перед глазами проходит увиденное, из темноты выплывают лица Гарика, Стока... Гарик — он понятен, не знаю, глуп или умен, но его проделки объясняются провинциальностью. А может, незрелостью? Нет, это уж чересчур. Просто в нем проснулся мещанин, а это уже пробел в воспитании. Сток—экземпляр на-а-а-много сложнее, не известно, что у него на уме. Все его восторги, ахи да охи ни о чем еще не говорят, пусть восторгается чем и кем угодно, только бы не выкинул какой-нибудь фортель. Позор ляжет на всю группу, да если бы только на группу.

И я медленно погружаюсь в сон...

Просыпаюсь от голоса:

— Умалат, проспали завтрак.

Володя поспешно натягивает на себя одежду. Следую его примеру.

Спешим в ресторан — экскурсию на голодный желудок не осилим — наскоро завтракаем, все время поглядывая на часы.

Семь минут, пять, четыре... Выскакиваем на палубу, сбегает по трапу, минута... Экскурсовод поглядывает на часы, мы са-

димся, понятно, на задние места, и автобус трогается с места. Едем в город-спутник Фарстцентр.

Мне очень нравится застройка Стокгольма. Город последние десятилетия не претерпел никаких изменений. Тяжелый, прочный, основательный, он сделан из крупного серого камня. Новые жилые массивы расположены от города в десятках километров и состоят из трех, а где из четырех десятков многоэтажных крупнопанельных домов, торгового и культурного центра. К ним ведут автострада и наземное метро. Между Стокгольмом и его спутниками нет обезличивающих застроек, кроме аккуратно расположенных вил и зеленой зоны парков.

Автобус мчится по широкой трассе, вокруг много света, зелени, одним словом простор! В Фарстцентре мы гуляем около часа, потом возвращаемся в Стокгольм, и экскурсовод ведет нас в ратушу, затем в Королевский дворец, что рядом с набережной, показывает лицевую часть города. Безусловно, она выполняет предписания своей фирмы. А с изнанкой знакомятся уже любопытные... Мы прогуливаемся по набережной, которая, как потом выяснилось, называется Шкиперской. Дойдя до моста, перекинутого через залив, некоторое время топчемся на нем, потом наконец решаемся перейти его. И ступаем на остров Стаден—средоточие значных мест. И белое трехмачтовое судно, стоящее на приколе, и массивное каменное здание в тени деревьев у берега оказываются интимными клубами.

Володя задерживается у газетного киоска, долго о чем-то размышляет, наконец, протягивает киоскеру деньги и получает номер газеты «Автобладет».

С первой страницы на нас застенчиво смотрит стройная, красивая, обнаженная девушка, нижняя половина ее тела прикрыта травами и ромашками. В автобусе мы листаем газету и задерживаем свое внимание на рекламе интимных клубов и значных заведений Стокгольма, Мальмё, других городов.

— Хороший сувенир, многоговорящий,—изрекает Володя, складывает газету и засовывает в карман костюма.

Поднимаемся на теплоход к обеду, проходим мимо каюты Гарика. Из нее доносятся голоса. Володя удивленно смотрит на меня, затем решительно подходит к двери и толкает ее.

Гарик и Сток играют в преферанс. Они поднимают головы одновременно. Первый как-то глупо хихикает: «А, нагулялись, экскурсанты».

— Вы что же,—лицо у Володи вытягивается,—вы что же, никуда не ездили?

— Нам и так мило,—отвечает Сток.

Володя оборачивается ко мне и вид у него такой, словно его

легонько пристукнули обухом по голове, потом снова обращается к играющим:

— И так вот... с утра... самого?

— С самого утра,—кивает Гарик.—На кой черт нам глядеть на этот загнивающий капитализм.

— Гляди на него не гляди—все равно не поймешь, что хорошо, а что плохо,—поддакивает Сток.—А тут такое разворачивается, такое намечается, весь вечер будем гудеть...

Володя смотрит на него так, словно на рекламу, поворачивается и выходит. Я следую за ним.

— Не Сток, а скот настоящий,—бурчит Володя.

После обеда теплоход отплывает. Палубы забиты туристами. День солнечный, теплый, и весь город искрится солнечным светом, и вода в заливе слепит бликами. На набережной—толпы людей. Одни проходили мимо и остановились поглядеть на уходящий советский теплоход, другие пришли проводить специально. Вижу в толпе знакомое лицо, ах, это же Свен, рядом с ним Мария; машу им рукой. Они поднимают правые руки, сжатые в кулак. Оба, Свен и Мария, нет еще двое молодых мужчин, похожие на близнецов с фотокарточки.

— Умалат, гляди, Свен пришел, с Марией,—кричит, пробираясь ко мне, Володя.

— Мы им и сувенира никакого не оставили,—говорю ему.—Некрасиво получилось.

Володя роется в карманах, раскрывает кулак, глядит на меня:

— Может быть, хоть это оставим, на память, как ты думаешь?

На ладони—металлические рубли.

— Давай рискнем,—говорю.

Володя машет Свену рукой и громко кричит:

— Сувенир, возьми, как сувенир.

Он бросает одну монету, вторую, третью. С набережной их поднимают и передают Свену.

— Спасибо,—кричит Мария.

— Спасибо,—вторит ей Свен.

Теплоход медленно отходит от причала. Полоса воды между нами и берегом становится все шире и шире. Но люди не уходят, они, словно зачарованные, смотрят на белоснежное судно, над которым реет алое полотнище. Над головами людей—четыре высоко поднятые руки, сжатые в кулак.

Раннее утро. Хмуро. Теплоход скользит по узкой воде, теснимый с двух сторон берегами. Они сбегаются, словно задумав расплющить судно, то спускаются к воде пологими зелеными языками, то замирают отвесными скалами, выпятив каменные груди и подняв крутые плечи.

Идем по фьорду. Теснота неимоверная. Если бы не бревенчатые дома, окрашенные в веселые, яркие цвета, примостившиеся у воды и взбегающие на скалы, можно было бы решить, что это край, забытый богом и людьми.

Идем по фьорду много часов, а конца ему нет: словно он ведет к Ледовитому океану, да еще под конвоем крикливых и прожорливых чаек.

Спускаюсь в бар выпить чашку горячего кофе. Не хочется ни о чем думать, ни с кем говорить... Но в голову приходит неожиданная мысль: а как бы вел себя здесь Чуртиков? Я отгоняю от себя эту мысль, но она засела в моем мозгу, тогда я принимаюсь рассматривать посетителей бара, и таким образом вытесняю Чуртикова.

Боже мой, какая мука эти морские путешествия. В яркую, солнечную погоду, конечно, красиво—вокруг искрящаяся вода, безграничное и бездонное небо, чайки, встречные суда и всякие другие прелести природы, но в хмурую хочется или волком выть, или спать. Я закрываю глаза и пребываю некоторое время в дремотном состоянии, прислушиваясь к разговорам, происходящим за соседними столиками.

Слышу движение в баре, открываю глаза. Пассажиры выходят на палубу. Следую за ними.

Теплоход отшвартовался. Мы в Осло. Сеет мелкий густой дождь, а на причале в полной парадной форме нас встречает духовой оркестр. Он исполняет марш за маршем, а мне жалко ребят, мокнувших под дождем. Я знаю, что через полчаса они и члены общества норвежско-советской дружбы, снующие рядом, уютно расположатся в салоне нашего ресторана, их вкусно накормят, обогреют и преподнесут сувениры—таков наш неписанный закон гостеприимства, но в данную минуту мне почему-то жалко ребят.

После завтрака нас везут на завод по производству безалкогольных напитков, который обеспечивает кока-колой, пепси-колой, всевозможными соками почти всю страну. Туристов любезно встречает лет тридцати семи крепко сложенный высокий мужчина в клубном костюме. Лицо его квадратное и тяжелое, но серые глаза глядят приветливо и с интересом. Это шеф рекла-

мы завода. После осмотра главного цеха мы располагаемся в уютном конференц-зале, где две миловидные девушки подают на столы горячий кофе, пирожные, кока-колу, а мы в свою очередь хозяевам—сувениры. За чашкой кофе начинается непринужденная беседа. Меня приятно поражает система работы на заводе. В общей сложности здесь трудится двести человек, из которых сто разъезжают по стране, рекламируя продукцию предприятия. Пятьдесят—транспортники. Остальные делятся на административных работников и рабочих. Есть ли здесь иностранцы?—спрашиваем шефа. Есть, на погрузочно-разгрузочных операциях. Мы видели на погрузке с десятков броневетов, очевидно южане? Да, это турки. А как оплачивается их труд? По положению, иностранные рабочие получают зарплату, как и норвежцы, только тогда, когда изучат государственный язык, норвежский, ну а до той поры—вдвое меньше. Вы не видите в этом ущемление прав иностранных рабочих? Таково положение, выработанное и утвержденное директорами предприятий.

Что он может нам еще сказать. Не ругать же ему свои порядки, свою систему, своих шефов.

Уходим с завода к полудню. После обеда автобусы уносят нас за город, в музей, где под стеклянными крышами хранятся легендарная папирусная лодка «Ра» Тура Хейердала и шхуна «Фрам» Фритьофа Нансена. Когда видишь это утлое суденышко-плот, диву даешься, как может человек переплыть на нем океан, кишасий акулами, ворочающий многотонными волнами, свирепствующий ветрами; как может человек привыкнуть к мертвой тишине, безграничным пространствам и нескончаемым далям—вода и небо, небо и вода. Поистине, колоссальным мужеством и силой духа надо обладать, чтобы на базальтовом плоту выйти в океан...

Неподдельное восхищение вызывает и «Фрам». Нам разрешают не только осматривать его, но и, как говорится, пощупать. Я медленно ступаю по его палубе, трогаю штурвал, вхожу в каюту... Высоко к куполу крыши устремились мачты, но не свистит в снастях ветер, не сидит в бочке впередсмотрящий. «Фрам»—легендарная история Норвегии, экспонат этой истории.

Выхожу на воздух. Передо мной внизу—чаша бухты. По зеркальной глади скользят белоснежные теплоходы, навестили свои пеленгаторы военные корабли. Будто какой-то скрытый джип пустил их сюда, в эту кажущуюся мирную заводь.

* * *

На исходе дня получаем приглашение посетить молодежный клуб. Места за столиками уже заняты, ансамбль текстильщиц

из Полтавы, который едет с нами на теплоходе, отплясывает гопак. Опоздали из-за Володи; в нем вдруг проснулась любовь к монументальному искусству: он подолгу останавливался перед памятниками, часто встречавшимися на нашем пути, осматривал их со всех сторон, восхищался, и ни Гарик, ни Сток не могли оторвать его.

В клубе — яблоку негде упасть, от сигаретного дыма першит в горле, режет в глазах, крики, топот, взвизги, голоса поющих, звуки оркестра — весь этот шум оглушает и одурманивает меня. Я прислоняюсь к арке и единственное желание обуревает меня — выйти на свежий воздух, в тишину.

— Гарик беснуется, — смеется Володя.

— Что его укусило?

— Все cedят пиво, а ему не досталось.

— Ну и типчик.

— Просто хочет отведать норвежского.

— И отведаст...

И точно, показывается Гарик. Худой, почти тощий, в стойке оловянного солдата, он пробирается к нам, держа в вытянутой руке кружку.

— Где раздобыл? — с наигранной серьезностью спрашивает Володя.

— Оказывается, гостям дают бесплатно, — лицо Гарика радостно возбуждено. — Пойди возьми, чего ты стесняешься-то? Кто тебя тут знает?

— Да пошел ты с этим пивом... похлебкин, — вдруг зло взрывается Володя. — Уйди с глаз моих...

Но не дожидаясь, пока Гарик уйдет, сам поворачивается и исчезает в толпе.

— Что это с ним? — Гарик отпивает. — Психопат...

— Он же объяснил тебе ясно — не любит похлебкиных.

— Это кто, я похлебкин! — Гарик округляет глаза.

— Ну не я же.

— А ну вас, только и можете настроение портить. — Гарик делает еще глоток и уходит, высоко задрав голову: ищет свободное место.

Выхожу на улицу. Меня окатывает сырой холодный воздух. Вокруг фонарей и неоновых реклам клубится туман. Из казино, расположенного по соседству с молодежным клубом, выходит высокий мужчина. Он что-то пересчитывает, засовывает во внутренний карман пиджака и направляется в мою сторону. Сток! Не может быть? Да, Сток. Увидев меня, делает на лице улыбку — кивает в сторону казино:

— Знаешь, сейчас сделал небольшой бизнес. Бросил в автомат несколько жетонов и выиграл... сколько, ты думаешь?

— Трудно угадать.

— Сто крон.

— Ты посмотри! Посчастливилось!

Он не замечает моей иронии.

— Не пойти ли нам на теплоход? Мне этот клуб с его шумом успел надоест.

— Не заблудимся?

— Ну что ты, я ориентируюсь прекрасно.

Мы входим в какие-то узкие полутемные улочки, пустые и бесконечные. Через какой-то десяток минут, чувствую, Сток начинает нервничать, оглядываться, озираться по сторонам. Далеко за спиной гулко стучат каблуки, но как только мы останавливаемся, стук прекращается. В голову лезут разные глупые мысли. Неожиданно мы выходим на площадь перед ратушей, освещенную зелеными фонарями, и оба облегченно вздыхаем. Движение машин, огни, ослепительные витрины магазинов вселяют уверенность и покой.

Мы пересекаем площадь, обходим роскошные фонтаны и снова вступаем в полутемную улочку, которая должна вывести нас в порт. За спиной уже отчетливо слышен частый стук каблуков. Сток осторожно оглядывается и вдруг как-то облегченно произносит «женщины». Впутываемся в историю, догадываюсь я. И надо же было идти со Стоком. Не согласись я с его предложением—отправились бы всей группой. А теперь жди подвоха...

Меня берут под руку. Поворачиваю лицо—рядом ступает миловидная девушка с гладкими распущенными волосами. Она повисает на мне, щекочет губами мне ухо и что-то говорит. Я стараюсь освободить руку. Ну надо же, влипнуть в такую историю...

— Послушай, Сток, спроси, чего они хотят?—говорю я ему и тут же понимаю нелепость вопроса; как дважды два желания их ясны.

Сток, к моему удивлению, смеется, и на английском языке обращается к девицам. Потом они уже смеются втроем, и Сток весело, непринужденно сообщает:

— Они приглашают нас переночевать...

— Ты спятил?..

— Ну почему же так грубо, оскорбительно... И разве только спятившие любят женщин... Да ты не бойся,—успокаивающе говорит Сток,—девочки что надо. Они стояли в казино и видели, как я играю в рулетку...

— Ты, кажется, говорил, что выиграл в автомате?

— Какая разница? Так вот, увидели мой выигрыш и полетели, как мотыльки на свет.

— Самому бы тебе не сгореть...

— Перестань артачиться, ты еще мне спасибо скажешь за проведенный вечер...

Я поворачиваюсь и быстрыми шагами ухожу прочь.

— Что с тобой, Умалат, подожди, да подожди, говорю, заблудишься,—кричит мне вслед Сток,—да отцепись ты от меня, стерва...

Потом он кричит по-английски, но, по-моему, девица так вцепилась в него, что ему уже не совладать, а может, он и не хочет уходить от нее... Слышу за спиной стук каблуков, затем пальцы впиваются в локоть, но я сильно и резко отрываю руку и бегу... Да, да, бегу... Мог ли я предположить, что буду убегать когда-нибудь от девушки или женщины.

Но об этом побеге никто не будет знать, кроме четырех человек.

Я выскакиваю на небольшую полуосвещенную площадь и тут понимаю, что заблудился. Но почему-то эта мысль меня не пугает. Из двух зол последнее наименьшее. Спросить, где порт, не у кого—площадь безлюдна, и я полагаюсь на интуицию. Около часа плутаю по улицам, пока не оказываюсь в верхней части города, откуда видны огни порта. Теперь я знаю, в какую сторону идти. Иду скоро, будто меня кто-то толкает в спину. Подумать только, чужой город, чужая страна, чужие люди, и я, один в ночном чужом и безлюдном городе. Даже в мыслях я не мог бы представить себе эту ситуацию. Наконец, выхожу на площадь перед ратушей. Отсюда до порта не так уж далеко. Однако же, где сейчас может быть Сток, неужели пошел к девицам? Иначе он догнал бы меня. Какой же скот... Точно распознал его Володя. А ребята, наверное, уже все на теплоходе и волнуются за нас.

Но вернется ли Сток хоть к утру домой? Не может быть, чтоб не вернулся. А если нет?

* * *

Я поднимаюсь по трапу, вахтенный внимательно вглядывается в меня, не останавливает, не спрашивает паспорта. Лишь вслед слышу тихое ворчанье: полуночник... Медленно иду по палубе—в голове хаос мыслей от пережитого час назад—интуитивно чувствую, что кто-то следует за мной. Оглядываюсь: он быстро уходит в темноту.

Окна музыкального салона ярко светятся, весело играет оркестр. На палубе—смех, шутки.

Я не присоединяюсь к отдыхающим. Меня волнует вопрос: придет он или нет. Если нет, то надо будет утром сообщить руководителю группы — уход туриста с корабля—ЧП. А может, не ждать утра, а сообщить сейчас, пока не случилось непредвиденное... Сток может исчезнуть, и вся вина, морально, за его исчезновение ляжет на меня. Все-таки я должен выдержать до утра. А если... Какая-то сила, неподвластная мне, ведет меня к салону и останавливает у дверей. Я гляжу в зал, ищу кого-то, мой взгляд задерживается на руководителе, ах, да, я ищу его, он поднимает глаза, мы скрещиваем взгляды, я перешагиваю порог, но танцующие пары не дают пройти вперед. Что я делаю, мысленно проносится в голове, зачем, он придет, он должен прийти иначе... иначе это черт знает что получается... Я выхожу из салона и поднимаюсь на палубу. Сыро и мерзко. Снова сеет мелкий дождь. В порту полутемно: голубые фонари размазаны туманом. Сырость наступает с двух флангов: проползает в ноги и за шею. Хочется, ох как хочется плюнуть на Стока и уйти в каюту.

Чуткое ухо улавливает стук каблуков по трапу. Неужели идет? На палубу поднимается Сток. Завидев меня, он подходит, на его лице—ни тени угрызения совести, наоборот, рот расплывается в улыбке.

— Зря ты убежал. Девки—что надо...

Я не отвечаю. Во мне кипит, клокочет гнев: он даже не интересуется, как я выкарабкался из лабиринта чужих улиц.

— Понимаешь, у девок прекрасная подготовка, готовы услужить мужчине во всем...

Ему совершенно не кажется мерзким, что он пользовался девками, которые вчера лежали в постели с другими, которые меняют мужчин каждый день, для которых любовь стала ремеслом, приносящим деньги.

— Может,—Сток заглядывает мне в лицо,—а может, ты успел сообщить обо мне?

Я гляжу на циферблат часов: три часа. Долгие, бесконечные секунды, минуты, часы я ждал этого подонка, тревожась за его судьбу, спорил со своей совестью.

Я незаметно разворачиваюсь вправо и резко, со всей силы выбрасываю кулак. Сток охает и прогибается вперед.

— У-у-у-х ты...

Не даю закончить фразу, поднимая сцепленные руки и обрушиваю ему на затылок. Он валится на палубу, как мешок.

Я поворачиваюсь и замечаю, как чья-то тень исчезает с палубы.

Вхожу в каюту, не включая свет, раздеваюсь, освежаюсь под умывальником и ложусь в постель. Ну и негодай. Глядишь, завтра еще пожалуется руководителю, что его избили. Неужели пожалуется? Тогда придется сообщить о его поступке? Какая пакость! Не сообщит. Такие люди трусы.

— Хорошо ты его... по всем правилам бокса, хо-о-о-роший был аперкот...

Кто это? Чей голос? Ах, Володя, он оказывается не спит? Неужели все видел? Не он ли ходил по палубе, ожидая нас? Но я так утомился, что нет ни сил, ни желания заговорить с ним. Закрываю глаза и тут же проваливаюсь...

* * *

...Колонны демонстрантов нескончаемым потоком идут мимо нас. На плакатах, повешенных на шею, высоко поднятых над головой—перечеркнутая крест-накрест бомба. Догадываюсь: демонстрация в защиту мира.

— Думали осмотреть Пикаддили, а столкнулись с политикой,—нудно протягивает шеголевато одетый Гарик.

— Здесь у них все возведено в ранг политики: и секс, и торговля порнографией, и избиение демонстрантов... От политики тут никуда не денешься. Я верно говорю, Умалат?—Это Володя.

Молча киваю головой. Мимо проходят совсем молоденькие ребята и девушки. Они несут на руках большой макет бомбы. Один из юношей останавливается, оборачивается к идущим вслед, поднимает руки, обращаясь к ним с просьбой остановиться. Тем временем ребята проходят вперед, бросают бомбу на землю, она раскалывается, и белое облако, а точнее дым, клубами извергающийся из нее, окутывает людей на сотни метров.

— Эффектно,—говорит Володя и вдруг вскрикивает,—полиция...

На самом деле, на улице появляются полицейские, больше похожие на рыцарей. Они в черной форме, на голове шлем с забралом, в руках—дубинки, на поясе—револьверы, рыцари двадцатого века.

— Не ввязывайтесь в драку, уходите, нам нельзя,—кричу я своим ребятам.

— Эх, встать бы на эту сторону баррикады,—доносится до меня голос Володи,—так и хочется врезать во-о-он тому бобби. Уж очень споро размахивает дубинкой.

Крики, визг, рев, улюлюканье,—все скатывается в огромный ком, все смешивается и превращается в какой-то хаос. Белая дубинка летит в мою сторону, в мое лицо...

— Умалат,—кричит Володя,—берегись, Умалат...

Я изворачиваюсь, дубинка пролетает мимо и тупо ударяет мужчину в голову...

Я просыпаюсь. Надо мной стоит Володя. Он осторожно трясет меня.

— Успокойся... Проснулся, ну и хорошо.

— Чего это ты?—спрашиваю его.

— Себя спроси, почему буйствовал.

— Ничего я и не буйствовал. Показалось тебе...

— Ну конечно, не разбуди тебя — вся палуба собралась бы на твой крик.

Он не спрашивает меня, чем вызван был мой крик, я не объясняю ему, закрываю глаза, но сон уже разбит. Да и за иллюминатором светает.

Я направляюсь в душевую, благо в такую рань никакой очереди, освежаюсь под холодной водой, потом облачаюсь в теплый Володин плащ и выхожу на палубу.

Промозгло. Вокруг — тяжелая вода и холодное небо, которые безудержно тянутся друг к другу и сливаются где-то там, вдали, на горизонте. Я сажусь в шезлонг, кутаюсь в плащ, поднимаю воротник и чувствую тепло меха, словно прикосновение живого существа.

Я плыву к берегам туманного Альбиона. Пока ни тумана, ни берегов, лишь я, да теплоход, да более трехсот пассажиров, которые досматривают последние сны. И вдруг перед глазами встает образ Чуртикова. Я встряхиваю головой, инстинктивно, желая избавиться от него, закрываю веки, а он выплывает из темноты маленький, улыбающийся... Я не хочу его видеть, открываю глаза, гляжу на море, на небо, потом бросаюсь в другой шезлонг. Лишь бы отвлечься от него... И Чуртиков исчезает.

Чуртиков... Почему я его вспомнил? Непонятно и непостижимо. В морских просторах, за тысячи километров от редакции — Чуртиков. Впрочем, все ясно; я, очевидно, соскучился по нему, или он по мне. Но меня вдруг захватывает другой вопрос, вытесняя и подавляя все остальные, не давая им родиться: как Чуртиков вел бы себя здесь, за границей, где человека подстерегает масса соблазнов, где на фасаде красивых городов — роскошь и благополучие, где лицемерие и подлость скрыты улыбкой. Как? Выстоял бы или поддался искушению? Трудно судить, в такой ситуации человек обычно пересматривает все ценности, становится строг к себе, своим действиям, поступкам...

А Сток?—внезапно спрашиваю я себя. Как же в таком случае объяснить поведение Стока и мягкотелость Гарики, и вдруг

я ловлю себя на мысли: ведь Сток и Чуртиков люди одного поля. Значит, здесь, на теплоходе, вдали от родного дома, со мной—Чуртиков и мне надо с ним бороться. Да, да, бороться до победного конца. Обнажить его истинное лицо, раскусить его мысли, чувства, побуждения, вывернуть его наизнанку и показать людям: смотрите, что собой представляет Чуртиков, приглядитесь, что укрывается за его улыбкой. Он потребитель и обыватель, и этим страшен, и вовсе не духовные ценности, не возвышенные идеи волнуют его. Закончилась пора размышлений—пришло время поступков...

Теплоход идет к невидимым берегам Британии, оставляя за собой белые буруны. Большие, тяжелые, прожорливые чайки сопровождают его, не покидая ни на минуту. И голубое небо, искрящееся золотом от улыбки восходящего солнца, висит над этим миром. Такое огромное, хрупкое и беззащитное небо.

Впереди — Дания, потом — Британия. Затем своя, родная земля.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЭТЮДЫ

Белый аист	4
Игроки	11
Где-то в деревне во Франции	15
Водораздел	18
Под сенью Святого Сердца	21

ПОВЕСТИ

Черный день	26
Поездка	54
Постигаю себя	93

БЕЛЫЙ АИСТ

Феликс Михайлович Бахшиев

ИБ 1111

Рецензенты — *А. Чехов, В. Портнов, Г. Владимиров.* Редактор *С. Муртузалиева.* Художник *И. Тимофеев.* Худож. редактор *В. Черёмушкина.* Технич. редактор *В. Гаджиева.* Корректор *И. Щербанёва.*

Сдано в набор 28.03.84. Подписано в печать 31.05.84. С 01604. Формат 60×84¹/₁₆. Бумага тип. № 3. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. п. л. 9,3. Уч.-изд. л. 9,68. Тираж 5000. Заказ 1123. Цена 1 руб.

Дагестанское книжное издательство Государственного комитета Дагестанской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
367025, Махачкала, ул. Маркова, 55.

Типография им. С. М. Кирова Государственного комитета Дагестанской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
367025, Махачкала, ул. Маркова, 51.

